Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Филологической факультет

На правах рукописи

Дуринова Галина Вячеславовна

**Слово как объект исторической семантики:
гражданин и общество в русском языке второй половины XVIII
- первой трети XIX вв.**

Специальность 10.02.01 – русский язык

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата филологических наук

Научный руководитель
доктор филологических наук
профессор О.Г. Ревзина

Москва
2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
§1. Семантика слова в исторической перспективе	5
§2. Семантические истории слов <i>гражданин</i> и <i>общество</i> в русском языке второй половины XVIII–первой трети XIX в.	11
§3. Темпоральная семантика социально-политических понятий.	17
§4. Задачи и материал исследования, положения, выносимые на защиту... ..	22
ЧАСТЬ I: Идеи и методы исторической семантики: от слова к понятию и от понятия к слову	30
Глава 1. Слово в истории языка	30
§1. Факторная модель языковых изменений.	30
§2. Лингвистический дискурс о семантических изменениях в языке.	42
§3. Слово как объект исторической лексикологии в концепции В.В. Виноградова.	62
§4. Проект исторического словаря и когнитивный подход.	68
Глава 2. Понятие в историческом процессе	72
§1. Темпоральная структура понятий в концепции Р. Козеллека.	72
§2. Рецепция концепции Р. Козеллека и словари социально-политических понятий.	80
§3. Формирование социально-политического словаря в освещении исторической науки.	85
§4. Метод <i>Begriffsgeschichte</i> в лингвистическом освещении.	93
§5. Выводы по I части.	104

ЧАСТЬ II. Русский социально-политический язык второй половины XVIII-первой трети XIX вв.	110
Глава 3. Лингвистические события переломной эпохи	110
§1. Специфика русского социально-политического языка.....	110
§2. Основные тенденции лексико-семантических изменений в «переломную эпоху».	113
§3. Соотношение французского и русского языков в тексте «Наказа» Екатерины II.	115
§4. Замечания об истории слов <i>société</i> и <i>citoyen</i> во французском языке второй половины XVIII в.....	120
§5. Языковые стратегии создания модели <i>гражданин-общество-государство</i> в «Наказе».....	130
§6. «Неофициальная» ось социально-политического дискурса.	136
Глава 4. Темпоральная семантика слова <i>гражданин</i>	141
§1. Уравнение с двумя неизвестными.....	141
§2. Позиция правового субъекта и адресат дискурса власти.....	144
§3. <i>Гражданин-горожанин</i> в государственно-правовых актах XVIII в.	147
§4. <i>Гражданин</i> в неофициальном дискурсе второй половины XVIII в. .	151
§5. <i>Государь</i> и <i>гражданин</i> в философско-политическом дискурсе второй половины XVIII в.	156
§6. Политический термин: <i>гражданин</i> в проектах декабристов.	167
§7. Моральный концепт: <i>гражданин</i> в литературном творчестве декабристов.	170

Глава 5. Темпоральная семантика слова <i>общество</i>	178
§1. Истоки ‘общности’: этимология и слова с корнем -общ- в языке XI–XVII вв. (по данным словарей).....	178
§2. Структура «представления» и способы ее трансформации.	184
§3. Социально-политическое значение слова <i>общество</i>	187
§4. <i>Общество</i> в конституционных проектах и переводах первой трети XVIII в.....	191
§5. Когнитивная карта «общество».	201
§6. <i>Общество</i> в «Русской правде» П.И. Пестеля.	207
§7. «Языковой дрейф» и семантическая судьба слова <i>общество</i>	210
§8. Выводы по II части.....	212
Заключение	219
Библиография	227

ВВЕДЕНИЕ

§1. Семантика слова в исторической перспективе.

История значений отдельных слов входит в предмет лингвистической науки на всем протяжении ее существования: «Слово выступает не только как единица словарного состава, но и как центральная, узловая единица языка вообще» [Смирницкий 1952: 183]. Семантическая история слов, как отмечал акад. В.В. Виноградов, должна стать «существенной частью исторической семантики русского литературного языка» [Виноградов 1999: 4].

Вопрос о семантических изменениях слова входит в обширное поле проблемы языкового динамизма, специфичной для каждого отдельного уровня языковой системы. Для лексико-фразеологического уровня они таковы: а) «лексика меняется под более прямым и сильным воздействием общества, чем звуковой и грамматический уровни <...> Появление новых вещей и понятий – это, по-видимому, самая общая и очевидная причина массовых и заметных словарных инноваций» [Мечковская 2009: 197]; б) «в истории лексики существенно более сильно, чем в грамматике и фонологии, проявляется сознательное воздействие общества на язык» [там же]; в) «изменения в лексике...более множественны, разнообразны и во многом разнонаправлены. В отличие от грамматических процессов, они происходят часто и протекают с большей легкостью и скоростью» [там же].

Другой, не менее существенной особенностью, изменений на лексическом уровне является факт взаимосвязанного существования слов в лексической системе языка. Не отрицая того факта, что «слова двигаются и изменяются вместе с языком» [Виноградов 1999: 8] и «изменения в общей системе отражаются на употреблении отдельных слов» [там же], В.В. Виноградов одновременно подчеркивает, что «слово раскрывается как *отдельный исторический факт, который как бы самостоятельно развивает*

заложенные в нем потенции семантических изменений» (выделено мной – Г.Д.) [там же].

Теория исторической лексикологии В.В. Виноградова была ориентирована на постепенную реализацию масштабного проекта по составлению «Исторического словаря русского литературного языка XVIII – XIX вв.». Его роль исследователь видел в создании «историко-лингвистической концепции умственного, культурного и, в частности, художественного развития русского общества» [Виноградов 1977: 200], соглашаясь с поэтом В.А. Жуковским в том, что «всякое слово, получающее место в лексиконе языка, есть событие в области мысли» [там же]. Каждое значение слова представляет такое «событие в области мысли».

В языкознании было выдвинуто два подхода к изучению значения слова: семасиологический (от слова к понятию) и ономасиологический (от понятия к слову). Определяя ономасиологию как «семантическое изучение наименований» [Гак 1998: 200], В.Г. Гак подчеркивал, что «ономасиология подчиняется семасиологии» и приводил замечание Л. Витгенштейна о том, что «значение слова в конечном счете определяется тем, что оно способно обозначить» [там же].

Несколько огрубляя, можно сказать, что проблема семантического динамизма сводится к вопросу о природе и механизме полисемии. Так, с точки зрения семасиологического подхода, многозначность – результат раскрытия семантического потенциала слова (Г.И. Кустова). Выявление семантического потенциала предполагает осуществление следующих процедур: 1) определение того, «что можно извлечь из исходного значения и связанной с ним ситуации» [Кустова 2004: 11] и 2) определение того, «на что можно “распространить” знак, какие новые ситуации вовлекаются в его семантическую орбиту» [там же]. В результате этих процедур можно прийти к конечному набору «значений определенных типов» [там же].

«С ономасиологической точки зрения... многозначное слово предстает не как набор значений, связанных отношением семантической деривации, а как ряд относительно автономных номинаций разных реалий (объектов, ситуаций, отношений и т.д.) с помощью одного языкового знака» [Толстая 2008: 21]. Поэтому главное при ономасиологическом подходе «объяснить причину (мотив) использования данного языкового знака для обозначения данного денотата и затем восстановить логику применения одного и того же знака к разным денотатам» [там же].

Категорическое принятие лишь одной из обозначенных точек зрения ведет к упрощению и не позволяет ответить на вопросы, встающие перед исследователем, как-то: почему одни слова развивают полисемию, а другие нет? почему одни слова проживают богатый «жизненный цикл» (А.А. Поликарпов) – подвергаются забвению, уходят из «основного словарного фонда» (В.В. Виноградов), но затем возвращаются, измененными, а другие, на первый взгляд, остаются неизменными в течение столетий и т.д. Иначе говоря, что является условием смысловой продуктивности и жизнеспособности слова, какое свойство, которым обладают одни слова и не обладают другие, задает его динамику в истории?

Во второй половине XX века такая постановка вопроса привела к тому, что сегодня принято называть «лингвистическим поворотом» в исторической науке¹. Речь идет о концепции исторического времени, предложенной Р. Козеллеком и получившей развитие в работах представителей Билефельдской историографической школы и направлении *Begriffsgeschichte*, или истории понятий.

«Непосредственный предмет истории понятий, - поясняет Н.Е. Копосов, - формирование понятийного аппарата социально-исторических теорий. Но ее претензии простираются гораздо дальше, ибо она исходит из мысли, что исследование исторических понятий – кратчайший путь к постижению истории»

¹ См. Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001. С. 284-294.

[Копосов 2005: 55]. Ключевой идеей Begriffsgeschichte является непосредственная связь между семантической структурой исторического понятия и формой умополагания и проживания собственно исторического (а не календарного) времени. Это означает, фактически, что понятия (и называющие их слова) выступают не только как индикаторы, но и как факторы исторических изменений (см. Бедкер 2010). Доступ к этому собственно-историческому времени, или «исторической темпоральности» открывают исторические понятия, обладающие «темпоральной структурой». С точки зрения Р. Козеллека, «семантическая структура исторических понятий определяется...напряжением, возникающим между их по-разному ориентированными во времени элементами, которые он называет соответственно “областью опыта” и “горизонтом ожидания”, иными словами, между обобщенным в понятии наличным бытием и проектом будущего, который оно пытается навязать как естественный порядок вещей» [Копосов 2005: 55], история «не столько создает язык, сколько создается языком» [там же: 56].

В классическом для этого направления труде – «Словаре основных исторических понятий» – Р. Козеллек раскрывает смысл этой терминологии на следующем примере: «Слово “республика”, некогда бывшее собирательным понятием для всех форм государственного устройства...претендует на то, чтобы обозначать единственно легитимное государственное устройство. Из родового понятия, существовавшего в теоретической систематике, это слово превратилось в историческое понятие, описывающее цель и заключающее в себе ожидание. Понятие, таким образом, подверглось темпорализации...оно более не описывает наличной реальности, но содержит важный элемент – ожидание; это понятие отсылает к будущему, превращаясь из понятия в проект будущего» [Козеллек 2014: 28].

Но все ли слова имеют «горизонт ожидания», то есть обладают «темпоральной структурой»? Нет, речь идет о так называемых «основных исторических понятиях». Это наиболее уязвимый аспект концепции Козеллека,

уязвимый более всего с точки зрения лингвистики, для которой едва ли приемлемы разграничения, проводимые Козеллеком между «основными историческими понятиями» и «простыми словами»². Однако именно этот аспект и представляет наибольший интерес для ответа на вопрос, поставленный выше — почему одни слова проживают богатую семантическую историю, а другие нет. В предисловии к названному словарю Козеллек пишет об основных исторических понятиях как об «имевших важнейшее значение в ходе того исторического процесса, который составляет предмет исследования историков» [Козеллек 2014: 24], причем «весь язык источников изучаемого периода представляет собой одну большую метафору той истории, которую хочет познать историк» [там же]. В словаре описана история таких понятий, как *история, современность, политика, революция, общество, гражданин* и др. Очевидно, что в первую очередь авторов словаря интересуют базовые термины, в которых описывается история, идея же базовых терминов для лингвистики чуждой отнюдь не является.

Теория естественной категоризации, разработанная когнитивистами (прежде всего, Э. Рош и Дж. Лакоффом) показала, что «категории... организованы таким образом, что базовые с когнитивной точки зрения категории находятся “в середине” иерархии общего — конкретного [Лакофф 2004: 29], при этом «категории базового уровня функционально и эпистемологически первичны в отношении следующих факторов: целостно-образное (гештальтное) восприятие, формирование образов...организация знаний, легкость когнитивного оперирования (изучения, узнавания, запоминания и т. д.) и легкость языкового выражения» [там же]. Однако если концепция естественной категоризации является, в сущности, статичной, теоретическая мощь концепции Козеллека в том, что «идея логического своеобразия основных исторических

² Ср. комментарий историка Д.В. Тимофеева: «Принципиальное отличие понятия от слова выражается в его теоретической, концептуальной «нагруженности». С помощью понятий индивиды обозначают не конкретные объекты, а выражают свои представления о прошлом и настоящем окружающей их социальной реальности, а также перспективах общественного развития». Тимофеев Д.В. Методология «история понятий» в контексте истории дореволюционной России: перспективы и принципы применения // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 50. М.: ИВИ РАН, 2015. С. 116–138.

понятий включена в динамическую картину исторического становления современного разума» [Копосов 2005: 58]. Это делает историю понятий столь увлекательной для ансамбля гуманитарных наук. В предисловии к первому российскому сборнику по истории понятий, В.М. Живов заметил, что «ширящийся интерес к Begriffsgeschichte в международных гуманитарных исследованиях связан с центральностью для них исторической (а не синхронно-дескриптивной) проблематики, с постструктуралистским преимущественным вниманием к конструированию процессов, а не состояний» [Живов 2009: 7].

Показательно, однако, то, что многочисленные анализы, посвящаемые сегодня истории социально-политической терминологии различных европейских языков, проводятся, сущности, сообразно с логикой, словно бы не знавшей идей самого Р. Козеллека. Так, например, мы без труда найдем историографическое описание того, что, скажем, понимал под словом *общество* А.Н. Радищев, а после него, например, П.И. Пестель, или лексикографию, фиксирующую линейную последовательность значений слова *гражданин* от перевода книги Пуфендорфа «О должности человека и гражданина» (выполненного по заказу Петра I) до декабристских проектов и так далее. Но ведь – повторим – теоретическая мощь концепции Козеллека состоит в том, что в ней заключается нечто позволяющее объединить ономаσιологический и семасиологический подходы, представляющие собой своеобразную апорию теоретической семантики.

Тем острее в настоящее время встает вопрос об идеях и методах собственно лингвистической исторической семантики. Чтобы продемонстрировать различие ономаσιологического и семасиологического подходов к истории слова, достаточно ограничиться одним примером: если при движении от понятия к слову в центре внимания - эволюция понятия, нашедшего воплощение в слове *общество* в русском литературном языке второй половины XVIII - первой трети XIX в., то при анализе от слова к понятию центральным

становится вопрос о том, почему именно слово *общество* стало носителем социально-политического значения и стало историческим концептом.

Но вопрос следует задать на следующем уровне глубины: почему слово *общество* имеет столь богатую семантическую историю, вырабатывая во времени то, что станет социально-политическим значением, и как именно (по каким правилам, если они есть) происходит вырабатывание этого значения? Мы имеем дело с множеством значений этого слова, то есть, в сущности, с полисемией, помещенной в исторический план. Необходимо отдавать себе отчет в том, что «структура многозначного слова может быть результатом действия разных языковых механизмов – как семантических, развивающих потенциал исходного значения... так и номинационных (когнитивных)» [Толстая 2008: 23]. Итак, слово *общество* на протяжении своей истории проживает этапы семантической деривации и одновременно оно обладает каким-то свойством, которое позволяет именно ему стать номинацией нового денотата – понятия о социальном. Это свойство бесконечной нестабильности и неопределимости семантики делает возможным реализацию различных смысловых потенциалов во времени. Развивая мысль Козеллека, уместно поставить вопрос о *темпоральной семантике* слова.

§2. Семантические истории слов *гражданин* и *общество* в русском языке второй половины – первой трети XIX в.

Как бы ни определялось названное свойство семантической нестабильности и что бы ни понималось под «темпоральной семантикой», главным критерием эффективности анализа является степень его объяснительной силы. Как уже отмечалось выше, истории слов и понятий *гражданин* и *общество* в русском языке посвящены если не многочисленные, то внушительные по объему работы и, однако же, главнейшие вопросы в истории значений этих слов остаются, как представляется, нерешенными.

Так, в работах Д.В. Тимофеева – в частности, в монографии «Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного русского

подданного первой четверти XIX века» (2011 г.) детальнейшим образом проанализирован колоссальный по объему корпус текстов, в которых употребляется слово *гражданин*. Мы узнаем, что «во второй половине XVIII в. понятие “гражданин” имело политически нейтральное содержание и употреблялось, прежде всего, для обозначения городских жителей» [Тимофеев 2011: 75], что употребление этого слова «для обозначения общности места проживания не имело надындивидуального характера» [там же], а «к началу XIX в. в неофициальных текстах понятие “гражданин” активно использовалось и все чаще обозначало не только жителя города, но и любого подданного» [там же: 77]. «В большинстве исследуемых текстов, - подытоживает Д.В. Тимофеев, - слова “гражданин” и “подданный” были взаимозаменяемыми понятиями...обозначали жителя России, который должен был исполнять...государственные обязанности» [там же: 103]. И – неожиданный поворот – «в сочинениях наиболее образованных и высокопоставленных представителей дворянской элиты понятие “гражданин”... предполагало наличие у человека...прав и обязанностей» [там же]. Действительно, знаменитая цитата из проекта Н.И. Панина является нехарактерной на общем фоне словоупотребления: «Где же произвол одного есть закон верховный, тамо...есть *подданные*, но нет *граждан*» [там же].

При всей «гладкости» картины она представляет больше вопросов, нежели ответов. Но вопросы, которые здесь открываются, чрезвычайно важны: каковы отношения между лексемами *горожанин* и *гражданин*? Почему именно неофициальные тексты делают возможным эволюцию понятия *гражданин* как правового субъекта? И самый главный вопрос: почему, расподобляясь, синонимы *подданный* и *гражданин* оказались терминами «старого» и «нового» политического вокабуляра соответственно? Речь идет не о принятии «европейских принципов свободы личности, неприкосновенности частной собственности, верховенства закона, равенства гражданских прав» [там же: 17] и т.д. (а именно такой ответ мы получим в любом из исторических исследований

становления семантики этого понятия). Речь идет о лингвистическом потенциале обеих лексем и о том выборе, который свершился в оформляющемся русском социально политическом дискурсе: ведь слово *подданный* само по себе не связано с «государевой волей» и могло быть переосмыслено в сторону ‘подвластный закону’ (и такое, например, произошло с французским словом *sujet* в первой трети XIX в.) – и, тем самым, стать выразителем понятия о правовом субъекте. Но, однако же, эта судьба была уготована именно слову *гражданин*.

«Тот факт, - пишет Е.Н. Марасинова в другом исследовании, посвященном этому же слову, - что новое понимание взаимоотношение власти, общества и личности в монархических государствах выразилось именно через понятие “гражданина”, имело свою историческую закономерность. По всей Европе горожане были самой независимой частью населения» [Марасинова 2008а: 105]. Однако, как показывает далее Е.Н. Марасинова, «теряя свое первоначальное значение “горожанин”, [понятие *гражданин*] наполнялось исключительно государственно-правовым или нравственно-этическим смыслом и не отягощалось этимологической связью с наименованием класса «буржуа» [там же: 108].

Но не сталкиваемся ли мы здесь с риском «механического сцепления фактов быта и мировоззрения с формами языка [Виноградов 1999: 6], тогда как «предметом семантики является не реальный мир, а концептуализация мира» [Булыгина 1982: 10]? Ведь констатация того, что слово наполнялось «исключительно» политическим или нравственным значением, не может быть оценено как некая ущербность. Вне всякой оценочности это наблюдение обнаруживает существеннейший признак русского концепта, включающего в себя представление о «нравственной силе, составляющей гражданина» (М.С. Лунин). Так не потому ли слово *гражданин* оказалось «предпочтительным», что было способно передавать эти морально-этические смыслы, являющиеся столь существенными для русской языковой картины мира и связанные с базовой оппозицией славянизм-русизм? В этом свете и синонимия, и последующее

расподобление слов *горожанин* и *гражданин* предстает как то ядро, которое и отличает историю русского понятия о правом субъекте от ситуаций в других европейских языках, и это ставит под сомнение столь непреложно принимаемую идею о «рецепции» семантики западных социально-политических концептов и ставит исследователя перед вопросом об активной, генерирующей роли именно русского слова.

Вопрос о собственно языковой специфике, определившей смыслы русского социально-политического языка, поставлен в главу угла в коллективной монографии «От общественного к публичному» (ред. О.В. Хархордина, 2011 г.), большая часть глав которой посвящена истории социально-политического содержания слова *общество*.

«Почему в России так много общего и так мало общественного?» - так сформулирован исходный вопрос, интересовавший авторов. Здесь затронут важный лингвистический аспект: действительно, в русском языке понятия *social* и *public* выражаются одним корнем, что уже делает положение слова *общество* особенным на фоне других европейских языков (ср. *société-publique*, *Gesellschaft-Gemeinschaft*). Примечательно и то, что в основу русского концепта положена идея общности-соединения, идущая от лат. *communicare*, тогда как в подавляющем большинстве европейских языков идея о социальном восходит, соответственно, к связи-соединению лат. *sociare*. Но на практике слово *общество* (в период второй половины XVIII-первой трети XIX вв.) интересует авторов как «термин, нагруженный новыми...смыслами, которые отражают начавшееся широкое распространение новых...форм общественно-политической мысли и соответствующих культурных практик» [Каплун 2011: 401]. Авторы интересуют прежде всего «словоупотребления, которые...отражают характерные для российского Просвещения изменения в умах и в социальной реальности» [там же]. Иначе говоря, здесь представлен ономаσιологический подход, и, хотя мы узнаем довольно много о том, как именно осмыслялась социальная и политическая реальность лучшими умами той

эпохи, кто и как употреблял слово *общество* и с каким смыслом, ответ на главный, как представляется, вопрос (о «формах “общего”, которые схватываются в языке» [Калугин 2011: 307]) остается без ответа. Да, безусловно, никакие отвлеченные рассуждения о синтаксических конструкциях и моделях управления, свойственных слову с древнерусского периода вплоть до первой трети XIX в. (ср. *общество тьмы со светом, общество Божье к нам, общества между благородными, ум, к обществу способный, общество блага*) и попытки интерпретировать самые разные контексты его употребления («от “общества”, тождественного государству, и “общества”, обозначающего сословия... до светского “общества”» [там же: 383]) – такие рассуждения не могут быть отделены от анализа явлений экстралингвистического порядка. Да, чрезвычайно важна рецепция теории общественного договора, как важно и то, в каком варианте она была заимствована – в варианте Гоббса и Пуфендорфа, или в так называемом «неоримском» (К. Скиннер) – через французских революционных мыслителей? Что, в сущности, прочел на тот момент тот же А.Н Радищев, проучившись в Лейпциге и переведший на русский язык европейских авторов и т.д.

И все-таки: сколь многое эта информация нам действительно проясняет?

В каждом из рассматриваемых автором контекстов (а рассматриваются только те, которые в качестве денотата имеют социально-политическую реальность, то есть заведомо меньшее количество контекстов) «можно увидеть разные формы “общего”: это язык, территория и религия...набор формальных привилегий, поведенческих кодов» [там же: 383-384]. Так, приводя пример из «Писем русского путешественника» М.Н. Карамзина – «Лозаннские общества отличаются от бернских, во-первых, тем, что в них всегда играют в карты...», автор тут же отмахивается от него: «Эти значения достаточно очевидны для XVIII века, и я не буду на них останавливаться...меня интересует категория “общества”...как термин» [Каплун 2011: 401]. М.Н. Карамзин, должно быть, вполне ясно понимал значение слова, которое употребляет, и в этом смысле,

конечно, это значение «очевидно для XVIII века». А для нас? Если выше речь шла о разных формах «общего», то почему бы не продолжить и не задаться вопросом: чем, собственно, отличаются *лозаннские общества* от *гражданских*? Иначе говоря, если наше объяснение семантики сочетания *гражданское общество* исключает объяснение сочетания *лозаннское общество* как «неинтересного» и, своего рода, лишнего, то и не столь многое объяснено.

Как справедливо замечает А.А. Филиппов в рецензии на рассматриваемую монографию, «прежде чем делать вывод о том, как через призму языка дает о себе знать общее и общественное, исследователь должен...поставить вопрос: «где находится наблюдатель?» [Филиппов 2011: 272]. Исследователь-лингвист должен находиться не в спекулятивных лабиринтах теории общественного договора и не в текстологических контрастах разных редакций «Путешествия из Петербурга в Москву», а, по возможности максимально близко, стоять на точке зрения «самого языка», для которого между *лозаннским* и *гражданским обществом* нет никакой разницы, потому что в обоих случаях допускаются трансформы «общество кого» и слово *общество* здесь называет членимую на составляющие целокупность.

Нельзя сказать, чтобы все существенные лингвистические характеристики исследуемого слова оставались вне внимания авторов, напротив, они поставлены в центр обсуждения – семантические роли, синтаксические конструкции, сочетаемость и т.д. Но, перенимая цветаевское: «Хотели в глаз, садили в бровь». Так, замечая, что «диапазон колебаний значений лексемы чрезвычайно высок – от неограниченно большой массы людей до конкретной личности и общения с ней» [Федорова 2011: 24], автор далее замечает, что *общество* может выступать в роли агенса и пациенса (а распространенная конструкция «в обществе»?); «В качестве агенса общество может по-разному воздействовать на индивидуумов – принимать или изгонять их» [там же: 25], «функционирует как некоторый самостоятельный организм со своими мнениями и привычками» [там же: 26]. Все это совершенно верно в своей очевидности, но

какова же лингвистика такого разнообразия? И здесь оказывается, что возможная теоретизация этого обширного материала ограничивается констатацией двух типов употреблений: «интерперсонального» (общество кого) и «абстрактного» (в роли агенса и в употреблении без зависимых слов). Безусловно, такое разделение схватывает нечто существенное в семантической структуре слова (мы это чувствуем интуитивно), но логика разделения на «интерперсональное» и «абстрактное» ничего не прибавляет к изначальной интуиции, ни во что ее не развивает и оказывается бессильной эту интуицию эксплицировать или опровергнуть. В этой связи А.А. Филиппов пишет о досадной «нехватке лингвистического аппарата» [Филиппов 2011: 273]. В самом деле: возможно ли выработать такой лингвистический аппарат, который позволит вскрыть сущность, на первый взгляд, едва ли не бесконечного многообразия допустимых форм общности, как они концептуализируются русским языком?

Отказ от «внутренней», собственно-языковой логики при анализе лексических изменений приводит к тому, что фундаментальное свойство лексического языкового уровня («развитие у слова нового значения представляет собой неиссякаемый ресурс в процессах номинации» [Мечковская 2009: 203]) является лишь манифестацией хаотичной неупорядоченности «семантической вседозволенности», тогда как «общая картина лексико-фразеологической диахронии значительно ближе к эволюционным процессам, чем к броуновскому движению» [там же].

§3. Темпоральная семантика социально-политических понятий.

На протяжении периода второй половины XVIII-первой трети XIX в. слова *гражданин* и *общество* переживают существенные семантические изменения, формируя понятия о правовом субъекте и понятие о социальном соответственно. Качество этих изменений не может быть исчерпывающе понято, исходя только из семасиологического или только ономасиологического подходов. Под «темпоральной семантикой» понимается последовательная

реализация во времени смыслового потенциала слова и «создание» словом своего денотата.

Действительно, было бы абсурдным утверждать, с одной стороны, что, вследствие серии этапов семантической деривации и «развития» первоначального значения 'горожанин', слово *гражданин* «стало способно» называть правового субъекта, как и то, что это слово было «применено» для называния иного (отличного от *горожанина*) денотата – и так у слова появилось социально-политическое значение. Концепция Р. Козеллека и введенное им понятие темпоральной структуры позволяет избежать подобной схематичности и прийти к более глубокому и точному пониманию сути наблюдаемого процесса. Ведь «область опыта» и «горизонт ожидания» - не просто метафора, за которой стоит представление о линейном времени: это объяснение того, как именно слова не только отражают действительность (индикатор), но и создают ее (фактор). Козеллека, как историка, интересовало то, как слова делают возможными историческую событийность. С точки зрения лингвистики «область опыта» представлена уже названными денотатами, а «горизонт ожидания» - теми, которые могут быть сформированы в лексической системе данного языка. Так, вопреки общему пафосу политико-правовых теорий, едва ли возможно постулировать существование некоего «гражданина», который в разных языках называется *citoyen*, *citizen*, *гражданин* и т.д. и денотируемая социально-политическая реальность не обозначается, а создается языком. Козеллек подчеркивал, что «горизонт ожидания» задается «областью опыта», но всецело им не определяется (подробней об этом в Главе 2). В нашем случае речь идет о том, что семантический потенциал русского слова *гражданин* предоставляет возможность реализации коннотативных смыслов, идущих от церковнославянской формы – и в этом смысле задает такой «горизонт ожидания», относительно которого в представлении о правовом субъекте в русском языке должен быть включен нравственный, морально-этический компонент. Неоднозначность же состоит в том, что как именно раскроется этот

семантический потенциал предугадать нельзя: коннотации, идущие от церковнославянской формы могут не только передавать названные смыслы, но и диагностировать особый «книжный регистр», в котором слова имеют идеологический, а не практический смысл (и как бы ни концептуализировался *гражданин*, это не будет иметь прямого отношения к юридической практике и т.д.).

Таким образом, темпоральная семантика предлагает иной, более конкретный, взгляд на проблему изменения значения слова, на самый процесс этого изменения. В отличие от классических теорий лексического значения, согласно которым «смысловая структура слова предполагает определенную взаимосвязь и иерархию значений» [Новиков 2011: 211], а «непустое пересечение трех значений А, Б и В... называется инвариантом» [Кронгауз 2001: 152], понятие темпоральной семантики является инструментом анализа и понимания динамических процессов в семантике слова, не сводящимся ни к механизму «языкового расширения» (Г.И. Кустова), ни номинативно-когнитивной функции (С.М. Толстая).

Вопрос, который логически следует из принятия термина «темпоральная семантика», таков: является ли это свойство постоянным, или оно характеризует слово на определенном этапе его семантического развития?

Р. Козеллек постулировал наличие у понятия «темпоральной структуры» в период так называемой «переломной эпохи» (*Sattlezeit*), охватывающей период конца XVIII-первой трети XIX в., когда у слов социально-политического лексикона происходит кардинальная перестройка внутренней смысловой структуры. В центре его внимания – становление современных (*modern*) представлений о государстве, обществе и исторических процессах, хотя допускается оговорка, что «процесс изменения значений слов в области общественно-политической терминологии наблюдается, естественно, для любого перехода от одной эпохи к другой» [Козеллек 2014: 26]. Значит,

некоторые слова обладают темпоральной семантикой в период Sattlezeit и не обладают таковой (или она является латентной) вне рамок этого периода.

Естественным образом в современных исследованиях по истории понятий вопрос о последующих «переходных эпохах» неоднократно ставился, и в настоящее время развивается направление исследований «Основных понятий XX века» (К. Гойлен), где козеллековской «темпорализации понятий» противопоставлен «перенос понятий в пространственное измерение» [Миллер, Сдвижков, Ширле 2012: 21] – *американизация, глобализация* и т.д.

Очевидно, что на основании экстралингвистических критериев ответить однозначно на вопрос о том, когда «заканчивается» темпоральная семантика, невозможно – это зависит от взглядов исследователя. Лингвистический подход к явлению темпоральной семантики может предложить следующую гипотезу (доказать или опровергнуть которую возможно лишь на значительно более обширном материале, что не входит в задачи настоящей работы): нереализованные семантические валентности слова создают источник семантической нестабильности, или темпоральной семантики, которая «прекращается» когда слово превращается в «культурное слово» (А.Н. Мороховский), становится концептом («в содержании концепта отразился русский менталитет и исторические реалии» [Жданова 2000: 162]). В рамках настоящей работы мы стремились раскрыть и проанализировать сам процесс реализации семантических валентностей слова во времени (описать его темпоральную семантику).

Очевидную проблему применения концепции Козеллека в лингвистическом анализе составляет необходимость постоянного «перекодирования» понятий исторической науки в лингвистические термины. Так, и термин «темпоральность», являющийся центральным и ключевым для истории понятий, в лингвистике оказывается занят (см. Бондарко 1990). Однако в свете вышеизложенных проблем и вопросов, заимствование термина «темпоральность» из работ историков, работающих в направлении

Begriffsgeschichte, представляется оправданным, поэтому в настоящей работе мы принимаем его как омонимичный термину функциональной грамматики.

В отличие от работ по истории понятий, темпоральная семантика используется в настоящем исследовании используется не только для описания понятийного содержания термина, но и как инструмент анализа синтаксических и когнитивных структур конструкций, в которых употреблено слово.

Очевидно, что на современном этапе историческая семантика, немислима без обращения к тому, что сегодня составляет предмет когнитивной науки. Идея примата семантического уровня над синтаксическим, изначально определившая формирование «лагеря когнитивистов», полемично настроенных по отношению к теории Н. Хомского (см., в частности, Рахилина 1998), развивается преимущественно в исследованиях по синхронии языка и почти совершенно не распространяется на историческую перспективу слова (не случайно центральную часть «Когнитивной грамматики» Р. Лангакера занимает теория графического представления концептов – это модель, ориентированная на статику и не предлагающая объяснения семантической динамики слова).

Другой вопрос, заложенный на первых этапах когнитивной семантики и, как представляется, не получивший удовлетворительного решения, это вопрос о соотношении семантических и синтаксических структур. Концепция автономного синтаксиса в последней трети XX века была в существенной степени дискредитирована открытиями в области когнитивной и экспериментальной семантики (работы Ф. Растье, Ч. Филлмора и др.). Так, например, Ф. Растье пишет: «В сущности, мы можем считать лексику и синтаксис – двумя уровнями структуризации означаемого языкового знака. Автономность этих уровней весьма относительна, о чем свидетельствует история различных языков (с присущими им явлениями транспозиции, грамматикализации, лексикализации и пр.). Весьма вероятно в этой связи, что именно семантика задает синтаксические валентности» [Rastier 1991: 139]. Это утверждение является обратным структуралистскому представлению

высказывания как драмы (Теньер), где «сменяются актеры, но высказывание-спектакль всегда остается неизменным, ибо его постоянство гарантируется единственным в своем роде распределением ролей» [Греймас 2004: 250]. Если исходить из понимания того, что функция первична по отношению к структуре [Томаселло 2011], то изменения в семантике предшествуют синтаксическим сдвигам. У. Чейф полагает, что семантический уровень уподобляется мышлению в смысле своего нелинейного характера, а синтаксический уровень необходим для того, чтобы «неупорядоченные семантические элементы <были> упорядочены во времени» [Чейф 2015: 75]. Эти вопросы приобретают весьма конкретные очертания при обращении к анализу изменений значений исследуемых слов: социально-политическое значение слова *общество* подразумевает нормативность позиции субъекта действия: *общество решает, общество призывает, общество осуждает* (НКРЯ). Но в тот период русского языка, когда равно возможны конструкции типа *обществом обороняться* ('всем вместе') и *обществом сочиняется* ('постановляется'), справедливо ли считать, что пассивная диатеза определила возможность трансформации **общество сочиняет*, где наречная функция (*обществом* в знач. 'вместе') устранена в пользу функции агентивной? Напротив, для слова *гражданин* диагностической в отношении социально-политического содержания является синтаксическая функция предиката (*X – гражданин*).

§4. Актуальность, цели, задачи и материал исследования.

Актуальность диссертационного исследования определяется назревшей в исторической семантике необходимостью разработки современного подхода к истории слов и понятий социально-политического языка. Научная **новизна** исследования состоит в том, что в нем впервые представлены этапы развития исторической семантики, выработан комплексный лингвокогнитивный метод анализа истории слов и понятий и разработаны историко-когнитивные модели семантической структуры слов *гражданин* и *общество*.

Объектом исследования является русский социально-политический язык второй половины XVIII-первой трети XIX в. В качестве **предмета исследования** были выбраны ключевые для русского историко-идеологического словаря слова *гражданин* и *общество*: именно с переосмысления их семантики начинается формирование социально-политического словаря (см. Тимофеев 2011), именно эти слова получают в языке конца XVIII-нач.XIX в. «омонимичных двойников»: в официально-государственном и оппозиционном дискурсе эти слова имеют различные значения и определяют функциональные и формальные различия этих двух языков. В период второй половины XVIII - первой трети XIX в. была решена историческая задача синтеза генетико-стилистических пластов и создания единой общенациональной формы (Виноградов 1978, Успенский 1992, Живов 1996.). Рассматривая «процесс европеизации» русского литературного языка во второй половине XVIII в., В.В. Виноградов специально останавливается на приспособлении русской литературной речи к выражению западноевропейских понятий [Виноградов 1982: 161]. В этом процессе ведущая роль принадлежит русско-французским языковым контактам, во многом определившим формирование русского социально-политического языка.

Материалом проведенного исследования являются законодательные акты от древнерусского периода до «Свода законов Российской империи» М.М. Сперанского (детально рассматриваются: «Генеральный регламент» Петра I, «Грамота городам» и «Наказ» Екатерины II) – как обнародованные, так и оставшиеся нереализованными проектами (например, проект Н.Н. Новосильцева) публицистические тексты А.Н. Радищева, Н.И. Новикова, Д.И. Фонвизина, М.М. Щербатова и др. (в т.ч. материал журналов «Трутень», «Живописец»), конституционные проекты XVIII- н.XIX вв. (проекты Верховного тайного совета 1730 г., проекты Д.И. Фонвизина и Н.И. Панина, А.А. Безбородко и др.), проекты государственного устройства П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева, мемуарные, эпистолярные и поэтические тексты декабристов. Также к исследованию привлекается обширный материал русских и французских

толковых словарей: СРЯ XI-XVII вв. (Словарь русского языка XI-XVII вв.), СРЯ XVIII в. (Словарь русского языка XVIII в.), СДРЯ XI-XIV вв. (Словарь древнерусского языка XI-XIV вв.), СЦРЯ (Словарь церковно-славянского и русского языка, 1847), САР (Словарь Академии Российской, 1789-1794), «Материалы для словаря древнерусского языка...» И.И. Срезневского, Trévoux 1740 («Dictionnaire universel français...»), TLF (- Trésor de la langue française XIX-XX), AF (разные издания словаря Académie française), DUSP («Dictionnaire des usages socio-politiques» - французский язык периода революции). Материалы этимологических словарей: Фасмер 2003, Черных 2004, Цыганенко 1989, Robert 2002 и др. Также привлекается материал латинско-русских (Петрученко 2003) и французско-русских словников («Полный французский и российский лексикон...», 1786), используются также данные СБРИО («Сборник Русского исторического общества», т. X).

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы произвести комплексное описание истории слов *гражданин* и *общество* в русском литературном языке второй половины XVIII - первой трети XIX в. с позиций современной исторической семантики. В диссертации ставятся следующие **задачи**:

1. Представить основные теоретические подходы и способы анализа истории слов и понятий, выдвинутые в исторической семантике.
2. Разработать и обосновать лингвокогнитивный метод анализа слова как объекта исторической семантики.
3. Дать общую характеристику и определить специфику русского социально-политического языка второй половины XVIII - первой трети XIX в.
4. Проследить употребление слова *гражданин* в русском дискурсе второй половины XVIII - первой трети XIX в. в его взаимодействии с французским и выявить темпоральную семантику этого слова.

5. Проследить употребление слова *общество* в русском дискурсе второй половины XVIII - первой трети XIX в. в его взаимодействии с французским и выявить темпоральную семантику этого слова

Современные отечественные исследования по когнитивной семантике (прежде всего – С.М. Толстая, Г.И. Кустова, Е.В. Рахилина, Анна А. Зализняк) наряду с классическими концепциями исторического развития языка Г. Пауля, М.М. Покровского, теории «о заменах существительного» А.А. Потебни, теория исторической лексикологии В.В. Виноградова, а также исследования в области *Begriffsgeschichte* (прежде всего, концепция Р. Козеллека) составили **методологическую базу** исследования.

На сегодняшнем этапе развития направления истории слов как части исторической семантики русского языка четко выделилась назревшая необходимость в раскрытии возможностей семасиологического подхода от слова к понятию в единстве с ономасиологическим. В соединении этих двух подходов заключена специфика **метода** настоящей работы.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем интегрируются методы исторической семантики, лингвистической семантики и когнитивных исследований, вырабатывается комплексный подход к анализу семантических изменений слова, объединяющий ономасиологический и семасиологические подходы.

Существенным представляется и то, что «исследование истории литературного языка создает базу для историко-идеологического словаря русского языка» [Виноградов 1999: 4]. Создание такого словаря – вторая назревшая необходимость, диктуемая вызовами науки и социально-культурными потребностями социума. Кроме того, материал настоящего исследования может использоваться в общих и специальных курсах по лексической семантике, по истории русского литературного языка и лексикографии. Все это определяет **практическую ценность исследования**.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) На протяжении второй половины XVIII-начала XIX вв. слово *гражданин* переживает существенные семантические преобразования: происходит разрыв синонимической связи со словом *горожанин*, и *гражданин* получает возможность передавать понятие о правовом субъекте. Другое преобразование состоит в том, что *гражданин* становится носителем специфически русского морально-этического концепта.

Эти изменения осуществляются в социально-политическом дискурсе в процессе реализации смыслового потенциала слова, определяемого системными свойствами лексемы *гражданин*.

2) Системные свойства лексемы *гражданин* определяются соотношением церковнославянского и русского языков в истории русского литературного языка. На протяжении XVIII века в законодательных текстах происходит расподобление форм *горожанин* и *гражданин* – и именно последняя приобретает терминологический статус. Там, где такого расподобления не происходит, не возникает и термина для обозначения правового субъекта.

Постепенное расподобление форм *гражданин* и *горожанин* и сопутствующий этому расподоблению процесс формирования стилистической системы русского языка определили возможности слова *гражданин* передавать стилистический смысл 'возвышенность' и вступать в сочетаемость со словами, не связанными с терминологическим значением правового субъекта, вследствие чего *гражданин* – это субъект мышления, субъект эмоциональных переживаний, носитель нравственных качеств (ср.: *мыслящий гражданин*, *святая ревность гражданина*, *мужество граждан* – в поэтических текстах декабристов).

3) Исторические преобразования происходили под влиянием европейского социально-политического дискурса, в частности, французской системы социально-политических терминов. Впервые соотнесенное с французским *citoyen* в тексте «Наказа» Екатерины II, слово *гражданин* стало реципиентом политической семантики французского термина и было поставлено в связь с

понятием закона (*Равенство всех граждан состоит том, чтобы все подвержены были тем же законам*). Этот процесс получил развитие в публицистическом дискурсе второй половины XVIII в., где *гражданин* коннотативно передает смыслы соответствующего французского термина (*все под знаменитым именем Гражданина предстоять должны*).

4) Формирование семантики слова *гражданин* именно как термина русского социально-политического языка происходит в текстах политических проектов декабристов: слово получает дефиницию (*Граждане суть жители Российского государства, которым предоставлены права гражданства*) и становится словообразовательной базой для создания социально-правовой терминологии (*русский негражданин*).

5) На протяжении периода второй половины XVIII-начала XIX вв. слово *общество* подвергается существенным семантическим преобразованиям, в результате которых осуществляется переход от конструкций типа *обороняться обществом* ('сообща'), *общество блага* ('благо всех') к употреблению типа *гражданское общество имеет целью своего существования возможное благоденствие всех и каждого* (П.И. Пестель). Сущность этого перехода заключается в обретении словом *общество* позиции синтаксического субъекта, а также в определении «состава общности» (*гражданское*) – что делает *общество* термином социально-политического лексикона.

б) Социально-политическое значение делается возможным в условиях реализации концептуальной схемы «человек»³. Употребление слова *общество* в синтаксической позиции субъекта – следствие реализации этой концептуальной схемы, которая воплощается и в иных синтаксических структурах. Об этом свидетельствуют употребления слова *общество* в позиции агентивного дополнения в конституционных проектах 1730 г. Выделяются два типа таких конструкций: а) *обществом выбирается* ('выбирается сообща, всеми вместе, одновременно'), б) *обществом сочиняется* ('обществом постановляется').

³ «Мы говорим о “справедливом обществе”, “миролюбивой нации” и “злой империи”, как если бы им были присущи человеческие качества» [Lakoff 1989: 204].

Конструкции типа (а) не допускают трансформации в прямую диатезу без потери смысла 'каждый выбирает', а конструкции типа (б) такую трансформацию допускает (*общество сочиняет*), ввиду того, что глагол *сочинять* ('постановлять') – перформатив. Поэтому *общество* в конструкции (б) - это не совокупность «каждого из», а «соборное лицо». Употребление перформатива свидетельствует о реализации концептуальной схемы «человек».

7) На социально-политическую семантику слова *общество* в крайне малой степени повлияла рецепция французского концепта *société*. Систематически соотнесенное с этим французским термином в «Наказе» Екатерины II, слово *общество* лишено социально-политической семантики, что отражается в конструкциях из двух элементов (*общество соединенное*), где *общество* не имеет самостоятельного значения. Невозможность прямой рецепции значения французского термина объясняется предельно широкой семантикой русского корня *-общ-*, определившего специфику смысловой структуры слова *общество*.

8) История значений слова *общество* может быть раскрыта через анализ заложенных в семантике его корня когнитивных схем. Базовой когнитивной схемой признается схема круга (к идее которого отсылает этимология слова). Схема «круг» обладает параметрами «внутри» и «вне» (инклюзивность/эксклюзивность) и предполагает позицию Наблюдателя (с точки зрения которого осуществляется «очерчивание круга» - выделение той или иной общности)⁴. Введение данных параметров позволяет объяснить употребления слова *общество* в языке рассматриваемого периода: инклюзивность – включенность Наблюдателя в «круг» (*наше общество, свое общество*), название состава общности (*общество юношей, благородное общество*). Эксклюзивность - представление *общества* как вместилища (*жить в обществе, вступить в общество*), как типа связи (*общества между благородными, общество не в обжирании состоит*), метафорическое

⁴ Сущность понятия Наблюдателя можно прояснить на следующем примере из языка XV века: *общейший* – 'относящийся к возможно большому числу людей'. Значение слова можно представить как умозрительное начертание круга, охватывающего максимально большее количество людей, то есть максимально большой круг. Слово «указывает» на субъектно-объектную структуру: кто очерчивает круг и то, что подвергается очерчиванию.

представление общества как человека (концептуальная схема «человек») - *душа общества, мысли общества.*

9) Наиболее полное представление когнитивной схемы «круг» *общество* получает в социально-политическом языке декабристов. Так, в «Русской правде» П.И. Пестеля, где конструкция типа *Члены всякого общества могут единодушно согласиться в цели* сочетает в себе обе позиции наблюдателя - инклюзивность (актуализован параметр 'состав' – *члены общества*) и эксклюзивность (отстраненная позиция наблюдателя – *всякое общество*) – исчерпывает потенциал когнитивной схемы круга – что приводит к стабилизации смысловой динамики слова *общества* в качестве термина социально-политического языка.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в публикациях журналов из списка ВАК: «Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (Государство и общество)» (2015, №1), «Вестник ПСТГУ. III: Филология» (2015, Вып.1), «Филоlogos» (2015, Вып.3/26), а также в журналах: «Русская филология» (2014, Вып. 25.), «Социологическое обозрение» (2015, Вып. 14, №1).

Результаты исследования были обсуждены на конференциях: «XX Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”» (Москва, 2013), «Международная конференция молодых филологов» (Тарту, 2013), «Векторы развития современной России» (Москва, 2014), «XXI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”» (Москва, 2014), «Язык и политика» (Москва, 2014), «History of political thought» (Лондон, 2014), «History of concepts: Conceptualisation of the communication» (Билефельд, 2014), «Проблемы современной лингвистики» (Санкт-Петербург, 2015).

Объем и структура работы. Работа состоит из **Введения**, двух частей и пяти глав, **Заключения**, **Библиографии**.

ЧАСТЬ I

Идеи и методы исторической семантики: от слова к понятию и от понятия к слову

Глава 1

Слово в истории языка

Quand la langue crée des senses nouveaux, elle donne à des mots déjà existants des fonctions, qu'ils ignoraient jusqu'alors.

*A. Darmesteter. La vie des mots*⁵.

§1. Факторная модель языковых изменений.

Французский лингвист Ф. Растье в монографии 1991 года предсказывает такое будущее лингвистики, при котором из него совершенно уйдут «большие теории», а ценностная шкала будет задаваться практической приложимостью формальных грамматик. «Программист, решающий конкретную языковую задачу, будет задавать лингвисту конкретные (порой, чересчур конкретные) вопросы, как например: какова позиция прилагательного во французском языке? В ответ программист получит, вероятно, лишь размытые ответы с оговорками. В этом случае он естественным образом обратится к тем лингвистическими теориями, которые являются наиболее удобными в прикладном аспекте – которые описывают языковые правила как правила формализованных языков [программирования]. Такие описания будут иметь приоритет над теми, которые опираются на множественность культурологических факторов <...> Так программисты создадут частную [local vs général – Г.Д.] лингвистику» [Rastier 1991: 50]⁶.

Действительно, ситуация в лингвистической науке, при которой друг за другом издаются фундаментальные работы под «глобальным» заголовком

⁵ «Когда язык создает новые смыслы, он наделяет уже существующие слова неведомыми им доселе возможностями». А. Дарместетер. «Жизнь слов...», 1887. Перевод мой – Г.Д.

⁶ Здесь и далее, когда отсылка производится не к русскому изданию, перевод мой – Г.Д.

«Язык» (например, Sapir 1921, Bloomfield 1933), характеризует сегодня науку прошлого столетия. Отказ от «больших теорий» многими исследователями связывается с изменением ценностных установок в науке о языке: «Лингвистам со студенческой скамьи объясняли, что, конечно, они видят перед собой тексты, но не тексты являются для них по-настоящему важными: минуя их, они должны перейти к более значимому объекту - к системе правил, по которым эти тексты строятся, - и рассуждать об этой системе, а не о текстах, «реконструируя» ее на основе текстов <...> Пройдя очень далеко по пути отрицания самостоятельной значимости «речевого» или «текстового» материала, многие из них в конце концов остановились и задумались: а существует ли язык вообще?» [Плунгян 2008: 8]. Так зародилась корпусная лингвистика, и «в настоящее время корпус - это не просто дань техническому прогрессу или более удобный инструмент для поиска примеров; это именно примета новой идеологии изучения языка, для которой язык - вообще говоря, *и есть корпус*» [там же].

Парадоксальным образом эта «новая» установка возвращает исследователя фактически в начало XIX в., когда внимание лингвиста было обращено к изучению мертвого языка, *то есть* – конечному набору текстов на этом языке, или тому же корпусу (Ср.: «Нельзя забывать и об очень плодотворном опыте изучения мертвых языков, «конечность» которых никак не сказывается на качестве их описаний» [там же]).

Отсутствие тенденций к созданию «больших теорий» в этом свете предстает следствием отсутствия необходимости задавать глобальные вопросы, самым существенным из которых (начиная с того же XIX в.) был вопрос о языковых изменениях. Действительно, если идеология такова, что язык уподобляется «конечному» (мертвому) языку, то перед лингвистом не возникает проблемы языкового изменения – ведь мертвый язык не меняется. Верно и обратное: язык, который не меняется, мертв (см. Косериу 1963), и поэтому элиминирование этого вопроса является серьезным упрощением всякой «идеологии» в отношении языка.

«Преодоление» структуралистской парадигмы сегодня признается осуществленным относительно едва ли не всех сосюрровских дихотомий – из лингвистического метаязыка уходят (становятся все более редкими) такие слова, как *означающее-означаемое, парадигматика-синтагматика, язык и речь* (ср. направление экспериментального анализа дискурса – см. Федорова 2014), *внешняя-внутренняя лингвистика*. И только оппозиция *синхрония-диахрония* остается терминологически уместной в современном метаязыке лингвистики. И хотя это противопоставление являлось предметом серьезных обсуждений (начиная с работ представителей Женевской школы⁷, Пражского кружка⁸ – до пространного сочинения Э. Косериу [Косериу 1963]), оно остается сегодня актуальным, поддерживаемое «факторной моделью» языковых изменений.

«Утверждается, что [язык оставался бы неизменным], если бы не вмешивались внешние факторы неустойчивости <...> Отсюда известное разграничение внешних и внутренних факторов: первые считаются причиной изменений, вторые же якобы сопротивляются изменениям и восстанавливают нарушенное равновесие системы» [Косериу 1963: 144]. Конечно, понимание того, что «процесс созидания языка не исчерпывается его ответной перестройкой в связи с... прогрессом общества» [Кубрякова 1970: 197], не является новым. Но в качестве альтернативы этой «ответной перестройке» языка («внешний» фактор) каждый раз называются такие («внутренние») факторы, как «усовершенствование языковой техники», «устранение противоречий в организации конкретных языков» [там же] и др. Эти внутренние факторы изменений определяются так называемыми языковыми антиномиями — имманентными противоречиями в языке, создаваемыми оппозициями говорящего-слушающего, узуса-системы, кода-текста, асимметрии плана выражения и плана содержания, информационной и экспрессивной функций языка [Панов 2007: 18–21]. Вне проблематики факторной модели известное

⁷ См., например [Сеше 2010], [Карцевский URL].

⁸ См. [Тезисы 1967].

утверждение Ф. де Соссюра о том, что язык синхронен по своей природе, очевидно, принимается как релевантное.

«Одна из наиболее опасных для лингвистики ошибок, - писал в связи с этим Э. Косериу, - состоит в стремлении свести теоретические (логические) проблемы к «общим» проблемам. В случае языкового изменения эта ошибка состоит в допущении, будто проблема *изменчивости* языков может быть решена, если мы найдем «причину» или все предполагаемые «причины» многих частных *изменений*» [Косериу 1963: 183]. Э. Косериу настаивает на полном элиминировании дихотомии синхрония-диахрония, ввиду бесперспективности такого взгляда на язык. Действительно, едва ли целесообразно спорить с соссюрским наблюдением о том, что возможны два подхода к анализу языка: подход, сравнивающий одни и те же явления в два различных временных момента (диахрония) и подход, рассматривающий разные явления в данный момент времени (синхрония). Но на это возможно ответить словами Э. Бенвениста: «Это верно. Это – не более чем чересчур верно – и поэтому так бесполезно. Действительная проблема располагается на ином уровне глубины [Benveniste 1966: 51]. Этот «иной уровень глубины», как представляется, элиминирует саму необходимость выбора между «синхронным» и «диахронным» анализом, а позволяет увидеть язык как *меняющееся постоянство*.

«Любопытно, что указанные проблемы, - продолжает Э. Косериу, - встают только в лингвистике, как будто языки – единственные системные объекты или единственные исторические объекты. В науке о государстве, например, также можно различать теорию государства, историю государств и описание данного государства в определенный момент. И никому не приходит в голову, что государство синхронно по своей “природе”» [Косериу 1963: 155]. Отметим, что как раз открытию того, что «государство не синхронно по своей природе», историко-политические науки обязаны так называемому «лингвистическому повороту» в гуманитарных науках второй половины XX

века, который на сегодняшний день имеет особо явные последствия в бурно развивающемся направлении истории понятий - Begriffsgeschichte (см. об этом Гл. 2). Иными словами, в апории «синхрония-диахрония» лингвистика оказывается перед той же проблемой, с которой сталкивается историческая наука.

Вопрос о содержании и причинах языковых изменений является исконно присущим науке о языке: «Изменчивость языка выступает всегда как его неоспоримое и весьма очевидное свойство. Его природа, однако, далеко не очевидна» [Кубрякова 1970: 197]. Здесь происходит сближение с проблематикой исторической науки: лингвистическая событийность⁹ (языковая динамика) ставит перед лингвистом вопросы, аналогичные тем, какими задается историк: что такое событие (в данном случае событие лингвистическое), как происходит движение от прошлого к будущему и в какой степени оно прогнозируемо. «Язык, — писал Э. Сепир, — движется во времени по своему собственному течению [выделено мной – Г.Д.]. Язык дрейфует. Если бы даже не было распада языка на диалекты, если бы каждый язык продолжал существовать как прочное самодовлеющее целое, он все же постоянно удалялся бы от какой-то определенной нормы... и постепенно превращаясь в язык, столь отличный от своей первоначальной сущности, что становился бы в действительности новым языком» [Сепир 1993: 140]. Изменения, происходящие в языке на уровне частных, индивидуальных отклонений от нормы, имеющих место в повседневной языковой практике, — явление неоспоримое, значимость которого, однако, не следует преувеличивать. Из понимания роли этих частных сдвигов «нисколько не следует, будто дрейф языка в целом может быть понят в результате исчерпывающего научного описания одних лишь индивидуальных вариаций речи, которые сами по себе — явления случайные <...> У языкового дрейфа есть свое направление <...> Направление это может быть... выведено из прошлой истории языка» [там же: 144].

⁹ Ср. понятие «*événement linguistique*» (лингвистическое событие) Ж. Гийому. См.: [Гийому 2010].

Рассуждения на тему пересечения лингвистической и исторической наук в вопросе о темпоральности можно множить, однако вопрос в том, есть ли в этом пересечении нечто позитивное, то есть способствующее продвижению? Возможное направление было предложено О.Г. Ревзиной: «Среди важнейших вопросов, поставленных Р. Козеллеком [признанным основателем направления *Begriffsgeschichte*] перед исторической наукой, был вопрос о собственно историческом времени. Изучение эволюции исторических концептов было важно для Р. Козеллека не само по себе (в конце концов тот факт, что понятие государства не совпадает в разные исторические эпохи и в разных странах, достаточно самоочевидно), а именно с точки зрения истории и ее времени. Здесь ключевым является вывод Р. Козеллека о том, что основные историко-социальные понятия – это не только «индикаторы», но и факторы исторических изменений. Эти два положения Р. Козеллека могут, быть распространены на изучение языка» [Ревзина 2013: 190].

Итак, альтернативой факторной модели языковых изменений может быть размышление о языке в присущей ему категории времени, и более специфичным образом – о времени собственно-языковом. Традиционно выделяемые вопросы, касающиеся языковых изменений, не теряют своей актуальности, но требуют освещения с определенной точки зрения. Можно выделять следующие рубрики: «вклад индивида», «язык – источник собственных изменений», «речевая деятельность и эволюция языка», «определение языкового изменения». Рассмотрим последовательно эти пункты, предлагая точку зрения на каждый из них.

Вклад индивида. Э. Косериу афористически определил язык как «субстантивированное наречие», подразумевая под этим, что язык как сущность (substantion) определяем наречным вопросом об образе действия, иначе говоря, что язык – это всегда не «что», а «как». Эмпирическому наблюдению язык доступен лишь в речи индивидов и, в сущности, является его единственной формой существования. В том, *как* говорят отдельные индивиды, и заключается

одновременно и стабильность, и динамизм языковой системы. «В виде общей нормы, - писал Е.Д. Поливанов, - мы встречаемся с коллективным намерением подражать представителям копируемой языковой системы, а не видоизменять ее» [Поливанов 1968: 75]. Так, например, «когда учимся говорить, просто-напросто заучиваем тот язык, на котором говорят наши родители <...> Нашей задачей в нашем детстве, как и задачей наших родителей и их предков в их период обучения языку, было научиться говорить именно так, как говорят взрослые, а отнюдь не переименовывать их слова» [там же]. Отсюда наблюдение, что «языковые новшества помимовольны и незаметны для тех, кто фактически осуществляет их» [там же: 78]. Понятие «помимовольности» изменений задает до некоторой степени фаталистический взгляд, подразумевающий, что изменения происходят «сами по себе», тогда как носители языка являются лишь пассивными исполнителями лингвистической «высшей воли», сами того не осознавая. В сущности, же речь здесь идет скорее о скорости/длительности изменения. «Помимовольные» сдвиги фонетического, морфолого-синтаксического характера, производимые носителями языка, - это процессы «долгой длительности» (*longue durée*). Скорость изменения (лингвистического события) возрастает, когда оно распространяется изначально на «короткую длительность» (*courte durée*). Это происходит в случае сознательно проводимого «языкового эксперимента» и метаязыковых размышлений носителей: словотворчество, переосмысление внутренней формы и «народная этимология», субъективное толкование значения лексем, возведение отдельных слов в терминологический статус, «дотраивание парадигмы» (ср. столь характерные для М. Цветаевой формы мн.ч. *сиротства, одиночества, братства*). Такие изменения как раз являются манифестацией воли, выражающей внутренние интенции говорящего, выполняющей определенную коммуникативную цель.

Скорость и длительность – единицы измерения времени, и собственно-языковое время проявляет себя именно в индивидуально-волевых изменениях и новшествах, тогда как периоды «долгих длительностей» мы вынуждены

отмерять сообразно разметкам времени хронологического («русский язык периода до падения редуцированных» и т.д.).

Принимая во внимание определяющую роль индивида, нельзя не согласиться с Э. Косериу в том, что «в действительности все...факторы в качестве условий речи являются «внутренними». Так называемые «внешние факторы» (например, смешение народностей, роль культурных центров и т.д.) – это факторы второстепенные, непосредственно не определяющие языковую деятельность <...> Обстоятельство, с которым сталкивается языковая свобода, – это не смешение населения, а состояние межиндивидуальных языковых навыков» [Косериу 1963: 218].

Язык – источник собственных изменений. «Язык, в отличие от прочих знаковых систем, является самопорождающим организмом, который из себя же самого создает свою новую структуру. В каждую эпоху его существования в нем присутствует множество образований, не подводимых с точностью ни под одну из его структурных категорий» [Кубрякова 1970]. Это означает, что изменение (в смысле нарушения тождества данной языковой единицы самой себе) начинается с ситуации варьирования ($A-A_1$), приводящей к ситуации замещения ($A_1 < *A$). Строго говоря, *язык есть причина собственных изменений*. Это утверждение, если не абсурдно, то вполне бессмысленно – оно ничего не объясняет и приводит к логическому тупику. Вопрос, который следует задавать, – вместо вопроса «как появляется B , не тождественное A » – *как в данной языковой системе возможно A_1 , отличное от A ?* К этому типу явлений относится, например, переинтеграция – «нарушение одних ассоциативных связей и возникновение других, не сопровождаемое изменением материального тождества единицы» [там же: 126] – как в случае переразложения морфемной формы. Изменения семасиологического характера также становятся возможными благодаря этому свойству – сегодня это принято называть языковым расширением (Г.И. Кустова): «Человек понимает новое, неосвоенное через данное, освоенное и известное, моделирует новые объекты и

ситуации с помощью уже имеющихся у него семантических структур, «подводя» под освоенные модели новые элементы опыта. Такого рода «расширение»... - общий принцип когнитивной деятельности человека» [Кустова 2004: 23]. Об этих двух названных типах явлений (морфологическая переинтергация и полисемия) проникательно писал еще Н.В. Крушевский: «...если наши слова своим происхождением обязаны ассоциациями сходства, то своим значением они обязаны ассоциациям смежности» [Крушевский 1998: 198].

Из приведенных рассуждений следует два вывода. Первый – и это ответ на поставленный выше вопрос – заключается в том, что язык меняется (движется), являясь системой познания и созидания смыслов. «Язык – это “умение творить”, и он *меняется именно как знание*» (выделено мной – Г.Д) [Косериу 1963: 219]. Иначе говоря, изменение происходит не по причине воздействия факторов (которые являются лишь условиями того или иного процесса), а из возможности получения нового типа знания. Что делает возможным это новое знание в отношении каждой отдельной языковой единицы (уровень морфологии, лексики, синтаксиса) – этот вопрос должен решаться частным образом.

Один из принципов таких решений как раз получаем во втором выводе: такие понятия, как «расширение», «ассоциация по смежности» предполагают пространственную модель изменений. Сегодня эта модель успешно применяется в методе составления семантических карт грамматических значений для типологически различных языков (см. Lazard 1981, Anderson 1986, Татевосов 2004). «Тот факт, что некоторые значения регулярно выражаются совместно, а некоторые другие – редко или никогда, отражает степень их близости <...> Мы располагаем различные значения на карте таким образом, чтобы сходные значения были близко друг к другу, а несходные – на расстоянии друг от друга» [Anderson 1982: 228] (цит. по: Татевосов 2004). Построение такой карты подчиняется принципу смежности («любые два значения... кодируются одним и тем же грамматическим средством тогда и только тогда, когда это же

средство кодирует все значения, расположенные между ними» [Татевосов 2004]). Такое пространственное представление – довольно сильное и точное орудие, позволяющие описать и объяснить совпадающие (универсалии) и не совпадающие способы кодирования того или иного языкового значения¹⁰.

Принцип пространственного представления значений в виде семантических карт применяется также для описания (и прогнозирования) «процессов, связанных с изменением семантической и/или грамматической функции языковых выражений – очевидно, что если значение грамматической единицы начинает меняться (например, расширяться), то сначала изменения захватят более близкие, и только потом – более далекие семантические области» [там же]. Опыт составления «диахронических карт» представляется, однако, менее обнадеживающим в смысле их применимости к семасиологическим изменениям (как определить, какое из – еще не существующих – значений является «более близким» и, тем самым, более «вероятным»?). Очевидно поэтому, что метод пространственного представления продуктивен, но не вполне удовлетворителен: в семасиологических явлениях мы, очевидно, имеем дело с областью, где принцип непрерывного включения («принцип смежности») не является универсальным. Пространственная соположимость (лексическая и семантическая сочетаемость), судя по всему, - только результат уже осуществившегося процесса создания значения. Здесь имеет место переход от нелинейного к линейному: «Чтобы мысли были вербализованы говорящим, сначала они должны быть структурированы в соответствии с уникальной семантикой данного языка. Однако перед тем как превратиться в звуки, семантические структуры, в свою очередь, должны быть преобразованы в ряде отношений, чтобы затем создать соответствующую синтаксическую структуру» [Чейф 2015: 67].

¹⁰ Так, например, «опираясь на карту...можно сказать, что русский дательный падеж отличается от английского предлога *to*, в частности, тем, что первый, но не второй используется для выражения семантической роли бенефактива. Французский предлог *à*, который имеет общие функции и с русским дативом, и с английским предлогом *to*, отличается от обоих тем, что допускает употребление в позиции предикативного посессора, что невозможно для русских и английских единиц (*Ce livre est à moi*)» [Татевосов 2004: 7].

Речевая деятельность и эволюция языка. «Не всякое изменение в системе речи приводит к сдвигам в структуре языка, но любому сдвигу в структуре языка обязательно предшествует изменение в системе речи» [Андреев 1966: 24]. Если говорить о всеобщих признаваемых «аксиомах лингвистики» (А.А. Кибрик), то это одна из них. Вопрос здесь в оценке этих изменений – утвердившиеся понятия «развития», или «эволюции» предлагают определенную точку зрения на роль этих сдвигов: «слово “развитие” содержит оценочный компонент – это “процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное”, то есть предполагается, что язык всегда движется по восходящей, и, например, русский язык в период 1917-1925 был более совершенный, чем в предыдущий период» [Ревзина 2013: 191].

Сегодня понятие «эволюции» применительно к темпоральному аспекту языка не просто биологическая метафора. Исследования в области нейробиологии и мозгового картирования позволяют обнаружить «потрясающие параллели между диахронией и эволюцией, <которые не могут быть случайными>. Они только подчеркивают тот факт, что, как и в биологии, индивидуальное адаптивное поведение является интегральным компонентом эволюционных изменений» [Гивон 2015: 101]. Представляется, однако, что происходит регулярное совмещение двух различных вопросов: вопрос о развитии языка – только частный вопрос о языковом изменении. В том смысле, что синтаксическая и грамматическая организация – это результат когнитивно-языкового развития («как в онтогенезе, так и в филогенезе человеческой коммуникации грамматика является наиболее сложным компонентом, который возникает и вступает в строй последним» [там же: 111]), говорить об «эволюции» совершенно правомерно – ведь речь идет о весьма конкретном в физическом смысле развитии нейрокогнитивных модулей. Когда же речь идет о том, каким образом, например, слово *наушник* («часть теплой шапки, закрывающая ухо») «начинает» означать «того, кто наушничает» или «прибор, соединённый со звуковым аппаратом» (см. об этом [Виноградов 1999: 15]), то утверждать, что

второе значение – более «развитое», чем первое, довольно бессмысленно. Поэтому следует, на наш взгляд, различать изменение как возможность нового знания и эволюцию как «адаптивный механизм».

Понятно, что наблюдая отдельные речевые факты (то есть работая в плоскости *courte durée*), мы наблюдаем отдельные реализации потенциально возможных способов «думанья», которые не «лучше» и «не хуже», чем все другие. Речь, как известно, индивидуальна, а речевой факт заведомо уникален и неповторим в точности. Сообщает ли он в этом смысле нечто об эволюции? – Если да, то лишь будучи интерпретированным на обширном фоне прочих отдельных фактов и в отношении относительно длительного временного отрезка. Сообщает ли этот конкретный речевой факт о форме выработанного знания? – Да. Этот ответ был получен в области когнитивной семантики – начиная от теории прототипов Э. Рош – до дальнейшей разработки теории метафоры и метонимии Дж. Лакоффа и М. Тернера. Так, когда Дж. Лакофф, объясняет название своей монографии «Женщины, огонь и опасные вещи» и апеллирует к языку австралийских аборигенов дьирбал – к имеющейся там категории *balan*, включающей названные объекты, – речь идет именно о категориях познания, а не о том, что этот язык, например, находится на предшествующей стадии эволюции по отношению к английскому языку.

Определение языкового изменения. Рассмотрев последовательно различные аспекты вопросов, касающихся языковых изменений, и предложив некоторую точку зрения по каждому из них, мы сформулируем определение языкового изменения – по возможности, более частным образом, чем классическое («процесс нарушения тождества единицы самой себе и результат такого нарушения» [Кубрякова 1970: 81]).

Языковое изменение – это получение языковой единицы, отсутствующей в узусе, в процессе выработки индивидом нового для него знания. Это реализация смыслового потенциала данного языка, понимаемая

как вероятностный процесс формулирования того или иного типа знания.

При всей притягательной методологической простоте применения факторной модели языкового изменения (и при всей неоспоримости реального действия этих факторов), нельзя не признать, что они покрывают лишь малую часть «языкового дрейфа» — в основном связанную с фонетическим и морфологическим уровнями и почти совершенно не проливают свет на область семасиологических явлений (формирование языковых значений), о которых М.М. Покровский писал как о «чрезвычайно сложных» и «прихотливых» явлениях «в жизни каждого языка» [Покровский, 1959: 67, 73].

У. Чейф призывает лингвистов не останавливаться на «твердой почве физических наблюдений, где разногласия устраняются на объективной основе» [Чейф 2015: 67]. Он констатирует: «Мало кто настолько безрассуден, что отваживается на путь в царство мыслей, где воздух разрежен, а туман густ, что кружится голова и можно безнадежно запутаться» [там же: 68] и — однако же — призывает именно к «осуществлению нескольких вылазок в этом направлении» [там же]. Уже полученный опыт таких «вылазок» чрезвычайно полезен для того, чтобы решиться предпринять новую. Поэтому в следующем параграфе мы обратимся именно к уже наличествующему опыту исследований языковой темпоральности.

§2. Лингвистический дискурс о семантических изменениях в языке.

Философия и эпистемология знания во второй половине XX века, казалось бы, сделали столь многое для того, чтобы развенчать культ позитивистской концепции научного познания, при которой «задача ученого состоит [в том, чтобы] “искать истину”... “систематизировать наблюдения” или “улучшать предсказания”» [Фейерабенд 2002:160] - и показать, что «все это побочные эффекты той деятельности, на которую и должно главным образом быть направлено...внимание и которая состоит в том, чтобы “делать слабое

более сильным”...и благодаря этому поддерживать движение целого» [там же:]. При таком «накопительном» подходе к научному процессу роль концепций предыдущих эпох, предстающих на сегодняшний день «архаизмами», не позволяющими ни «накопить знание», ни «улучшить прогноз», сводится к минимуму. Однако «ученый, заинтересованный в получении максимального эмпирического содержания и желающий понять как можно больше аспектов своей теории <...> будет сравнивать теории друг с другом, а не с “опытом”, “данными” или “фактами” [там же], а «альтернативы, нужные для поддержания дискуссии, он вполне может заимствовать из прошлого» [там же]. Как было сказано в предыдущем параграфе, проблема языкового динамизма - исконная для науки о языке, семантические (семасиологические) изменения – подраздел этой темы языкового динамизма в широком смысле. Раздел, который, однако, не может быть удовлетворительно изучен лишь как «часть целого», а требует подхода как к цельному и самоценному явлению.

Такие классические труды, как «Принципы истории языка» Г. Пауля (1880), «Об изменении значения и заменах существительного» А.А. Потебни (1899), «Семасиологические исследования в области древних языков» М.М. Покровского (1896), с одной стороны, поражают «злободневностью» не только поднимаемых вопросов, но и современным мыслительным аппаратом, стоящим за такого рода исследованиями (требуется лишь «перекодировать» терминологические ряды на принятый сегодня научный язык). С другой стороны, нельзя не замечать некоей лакуны, образовавшейся между пониманием *историзма* в названных работах (не идентичного, но сопоставимого) и *диахронического аспекта* (описываемого с точки зрения факторной модели). Названные работы содержат ряд проницательных наблюдений, подтвердившихся и разработанных впоследствии в научных исследованиях последующих периодов. Для изложения каждой из этих концепций примем следующий алгоритм: 1. определить темы, касающиеся вопроса о языковых изменениях и осуществить рубрикацию; 2. кратко представить те идеи, которые,

на наш взгляд, заключают в себе особый интерес для данного исследования; 3. сделать выводы о практической реализации этих идей на материале настоящего исследования.

В исследовании Г. Пауля нас особенно интересуют 2 раздела – первый, («Общие замечания о сущности языкового развития»), посвященный проблемам исторического подхода к изучению языка (а) и четвертый («Изменения значений слов»), посвященной семантическим процессам в лексике (б).

(а). Определение исторического подхода к языку дается Паулем в столь широкой перспективе раскрывающихся вопросов, что становится, в сущности, целостной концепцией языка. Отдавая дань эпохе, в которую создавался этот труд, многочисленные «психологические воззрения младограмматического языкознания» [Кацнельсон 2014: 5], мы будем прочитывать исходя из того смысла, который, на наш взгляд, является ключевым, и передавать его, исходя из современного понятийного аппарата. Можно выделить следующие «рубрики»:

1. Определение специфики и задач исторического изучения;
2. Когнитивный аспект языкового порождения;
3. Непрерывность языка во времени (дискурс);
4. Узус (норма) и динамические процессы в языковой системе;
5. Коммуникативное намерение и когнитивный потенциал.

Специфику исторического подхода к изучению языка Пауль усматривает в тесной связи такого подхода с описательной лингвистикой: «Историческая грамматика произошла от описательной. Сравнение, а не исследование изменений было изначально ее предметом» [Пауль 2014: 46]. В этом тезисе проявляется себя главная установка, являющаяся ключом к концепции исторического подхода Пауля. Она заключается в следующем: вычленение явлений, не тождественных самим себе в различные временные периоды и констатация «изменения» - все это не имеет никакого отношения к историческому подходу (принадлежит ведению описательной лингвистики).

Исследование историзма противопоставлено процедуре *сравнения* как не просто понятия, связанные отношением включения, а как находящиеся, фактически, в отношении непересечения.

Пауль подчеркивает, что не *сравнение*, а *исследование* – цель исторического подхода. Что же это значит? Сравнение предполагает, как минимум, два объекта, в то время как исследование – это процесс, возможный при количестве объектов ≥ 1 . Речь, таким образом, идет о самоценности отдельного языкового факта (например, слова, его лексико-семантического варианта), о чрезвычайной непродуктивности связывания двух явлений каузальными связями, что заводит исследователя в тупик. Но что означает «избрать объектом исследования одно явление»? «Подлинным объектом языкового исследования, - пишет Пауль, - является совокупность проявлений речевой деятельности всех относящихся к данной языковой общности индивидов в их взаимодействии» [там же]. Как видим, речь идет не о изоляционном подходе, а как раз наоборот – об ансамбле отдельных (самоценных) явлений речевого действия, и больше – о том, что предметом исследования становится, в сущности, единичный и невоспроизводимый речевой факт отдельного индивида. Если остановиться на этом этапе, то предлагаемая Паулем методология выглядит абсурдной: исследовать предлагается то, что является неповторимым и не фиксируемым, а потому не подлежащим теоретическим обобщениям и научному познанию. Признавая, что в историческом исследовании «не миновать описания состояний» [там же: 50], Пауль подчеркивает, что «необходимо, чтобы <описание> учитывало реальные объекты, то есть...психические организмы» [там же]. Под «психическим организмом» понимается, фактически, языковое сознание в общем смысле и язык как когнитивная способность – в частном. И далее утверждается: «...психические организмы являются подлинными носителями исторического развития. Речь сама по себе не развивается <...> как акустико-физиологический продукт слово бесследно погибает, как только пришедшие в данный момент в

движение тела возвращаются в состояние покоя <...> между одинаковыми артикуляциями нет никакой физической каузальной связи...Только в психическом организме остаются следы того, что происходит...только в нем заложены предпосылки исторического развития» [там же 49-50]. И так, историю языка невозможно понимать, выстраивая ее как историю означающих (понимая под этим фонетический уровень – акустико-артикуляционное тождество слов, морфолого-этимологический аспект – ср. в этой связи категорический «протест» В.В. Виноградова против центральной роли этимологического анализа для изложения истории слов [Виноградов 1999]). Это утверждение Пауля можно принимать как своеобразную «презумпцию» исследователя, но самое интересное в ней как раз то, что, в отличие от отвергаемого ею подхода (история означающих), она содержит в себе объяснение самого явления языкового динамизма: «Психический организм, образуемый всеми этими группами представлений, находится у каждого индивида в состоянии непрерывного изменения <...> Возможность приобретения нового дана всегда, даже если индивид обладает богатым опытом, не говоря уже о сдвигах в употреблении языковых форм или новых вариациях старых элементов <...> имеет место смещение отношений между ассоциациями» [там же: 48-49]. Мы понимаем, что «отдельное явление», «индивид» являются объектами исследования в той мере, в какой именно в них наблюдается процесс и результат производства нового знания, которым и являются языковые формы, конструкции, шире – дискурсы. Нельзя не вспомнить в этой связи рассуждение Л.В. Щербы: «Все языковые величины, с которыми мы оперируем в словаре и грамматике, будучи концептами, в непосредственном опыте (ни в психологическом, ни в физиологическом) нам вовсе не даны, а могут выводиться нами лишь из процессов говорения и понимания, которые я называю в такой их функции “языковым материалом” <...> Под этим последним я понимаю, следовательно, не деятельность отдельных индивидов, а совокупность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной обстановке в ту или другую эпоху»

[Щерба 2007: 26]. «Языковой материал», таким образом, это одновременно и нечто совершенно конкретное, но постигаемое не эмпирически, а умозрительно, мыслительно (ср. получившее в конце XX века развитие «модульной концепции» языка – как одного из мозговых модулей ментального отображения¹¹). Целью исторического анализа, по мнению Пауля, должно стать «наглядное отображение внутренних взаимоотношений этих элементов» [Пауль 2014: 50], которое призвано «раскрыть перед нами то, что составляет “чутье языка”» [там же]. При всей абстрактности подобных целеустановок нельзя отказать им в пронизательности: сегодня, имея опыт «Объяснительного словаря», компонентного анализа и формальных семантик, мы можем спросить себя: насколько, например, разложение *ливня* на *Magp.* + *дождь*, отвечает языковой интуиции? Мы способны обнаружить логику в том или ином явлении, но значит ли это объяснить его? «Когда мы, сравнивая две эпохи, разделенные значительным отрезком времени, говорим, что язык изменился в таких-то и таких-то пунктах, то мы тем самым еще не вскрываем реальной сути дела, - продолжает Пауль, - Ближе к истине было бы сказать: язык сотворился вновь, и это новообразование не во всем совпадает с тем, что было раньше и что уже отмерло» [там же: 55]. Формулировку «сотворился вновь», следует, видимо, понимать в том смысле, что мы имеем дело с принципиально иным продуктом когнитивной деятельности, в котором одно изолированное явление – не является ни «новым», ни «старым», а только его связи со всеми остальными и причина таких связей (*что* и с какой целью говорится?) и представляют собой факт метаморфозы.

На этом этапе мы уже пришли, фактически, к представлению о дискурсе¹² (ср. определение дискурса как совокупности всего произнесенного – см. [Фуко

¹¹ См. [Рахилина 1998], [Rastier 1991], [Anderl 2004], [Фаликман 2014] и др.

¹² В настоящей работе имеет место употребление термина «дискурс» как широким, так и в узком смысле. Эта терминологическая амбивалентность не является случайной. Как отмечает М.Л. Макаров, «широкое употребление дискурса как родовой категории по отношению к понятиям речь, текст, диалог <...> все чаще встречается в лингвистической литературе, в то время как в философской, социологической или психологической терминологии <понятие дискурса как отдельной категории> стало нормой» [Макаров 2003: 125].

1996], Ревзина [2005]), и его роль состоит в следующем: «Так как действие каждого психического организма прекращается со смертью индивида, то не будь постоянного притока вновь нарождающихся индивидов, у которых под воздействием готовых языковых организмов складываются новые, развитие языка ограничивалось бы продолжительностью жизни одного поколения. То, что все носители исторического развития языка... неизбежно отмирают и заменяются новыми, это, конечно, весьма простая, но отнюдь не маловажная истина» [там же: 50]. Таким образом, именно «готовые психологические организмы» и возникающие «под их действием» новые – условие непрерывности языка во времени. Но что подразумевается под возникновением новых смыслов «под действием» уже готовых? Это явление действительно чрезвычайно распространено в языке и известно сегодня под именем коннотации («коннотация имеет место во всех случаях, когда означаемым выступает знак» [Ревзина 2001: 437], когда слово «как целостный знак становится планом выражения для означаемого» [там же]). От подобного хода рассуждений недалеко до понимания механизма коннотации (и уже – интертекстуальности) как средства продвижения языка во времени¹³ (см. об этом [Ревзина 2004]).

Источником изменений признается узус: «Узус, описание которого составляет обычно основную цель исследования грамматики, всегда лишь до известной степени управляет языком индивида, где наряду с узуальным встречается еще много такого, что не зависит от узуса и даже прямо ему противоречит» [Пауль 2014: 51]. Говоря о том, что «роль произвольного установления [внешний фактор – Г.Д.] бесконечно мала» [там же], Пауль особенно подчеркивает, что «подлинной причиной изменения узуса является не что иное, как обычная речевая деятельность. В ней не обнаруживается ничего иного, кроме намерения, связанного с испытываемой в данной момент потребностью сделать свои желания и мысли достоянием других» [там же: 53].

¹³ История понимания термина «коннотация» подробно представлена в работе [Ревзина 2001].

Таким образом, коммуникативное намерение признается условием раскрытия когнитивного потенциала языковой формы.

(б). Изменения значений слов рассматриваются Паулем не столько как частный случай некоего общего закона языковых изменений, а, скорее, как отдельное масштабное явление, которое может быть схожим или отличным от других явлений языкового динамизма. Так, он отмечает, что «если при звуковом изменении, осуществляемом путем многократной подстановки незаметных различий, возникновение нового сопровождается отмиранием старого, то при изменении значения слова возникновение нового не исключает возможности сохранения старого» [там же: 93].

Это понимание подводит к определению семантической структуры слова – Пауль, по сути, говорит именно о ней, отрицая «общие значения» слова. «Сторонники «общих значений», и в частности, Штейнталь, с которыми полемизирует Пауль, отрицают полисемию и все значения многозначного слова так или иначе сводят к единому всеохватывающему значению» [Кацнельсон 2014: 10]. Пауль же развивает концепцию производных значений – процессы, происходящие между «узуальными» и «окказиональными» значениями.

Узуальное значение – шире окказионального по объему и, соответственно, беднее по содержанию. «В узуальном плане слово может быть многозначным, окказионально же оно всегда однозначно» [Пауль 2014: 96]. «К многозначным относятся прежде всего все слова, в которых сходство звучания при разных значениях вызвано случайностью» [там же] «реальное множество значений следует...признать и во многих других случаях, обнаруживающих не только звуковое, но также этимологическое единство» [там же]. Очевидно, что под «словом» здесь понимается как раз форма, означающее – поэтому то, что сегодня понимается под омонимией («сходство значения вызвано случайностью»), признается условием многозначности.

Многозначность, следовательно, понимается как результат *семантической деривации*. «Надежным критерием такого развития является то,

что, «имеются еще два отрицательных критерия, позволяющие установить, что слово имеет не одно, а несколько значений; во-первых, невозможность дать простое определение, которое охватывало бы целиком весь объем значений... во-вторых, невозможность окказионального употребления слова в полном объеме его значения» [там же: 97]. «Во всех возможных случаях отклонения окказионального значения от узуального содержатся зародыши подлинного изменения значений <...> Переход окказионального значения в узуальное начинается для индивида с момента, когда при употреблении и восприятии слова к его узуальному значению впервые присоединяется воспоминание о прежнем употреблении и восприятии» [там же: 103], а окончательное «отпочкование» нового значения (не восходящего к «общему») происходит, когда слово, «будучи употреблено окказионально в соответствующем производном значении, может быть понято без содействия основного значения» [там же: 96-97].

«Окказиональное значение включает в себе не все элементы узуального значения, хотя при этом оно может и здесь содержать в себе кое-что не относящееся к узуальному значению» [там же: 101], поэтому помимо окказионального и узуального значений Пауль выделяет индивидуальное значение: «Когда узуальное значение может рассматриваться как единственное, индивидуальное значение может отклониться от узуального, не становясь в то же время конкретным, поскольку оно обозначает одну из многих разновидностей, содержащихся в общем понятии» [там же: 97]. Процессы «индивидуализации» значений - первый этап смысловых изменений. Выделяются следующие типы (в кавычках – терминология Пауля):

- 1) «Специализация значения» (сужение объема, обогащение содержания): рассматривается пример нем. слова *Schirm*: «тогда как в значении каминного экрана и абажура это слово выступает лишь в определенных ситуациях, в значении «зонтик» оно легко воспринимается нами и вне особой ситуации, причем в последнем случае мы думаем уже не столько об общей функции защиты, сколько о предмете определенной конструкции и формы» [там же: 107].

- 1а) специализация, происходящая в процессе словообразования: «Во многих словах уже с самого начала обнаруживается более специальное отношение к основному слову, чем то, которое выражается производным словом самим по себе. Образованные от существительных производные образования с –er, сами по себе обозначают лицо, стоящее в каком-либо – безразлично каком – отношении к выражаемому основным словом понятию, однако в отдельных случаях обнаруживаются разные случаи специализации значения» [там же: 109]. Пример – нем. *Shüler*, которое «само по себе могло бы означать и “учитель”, однако нет никаких оснований предполагать, что слово имело некогда другое, отличающееся от современного значение» [там же].
- 2) «Обеднение содержания представления», связанное с расширением объема. Пример – нем. слово *Fertig* – изначально имевшее значение ‘готовый к дороге’, впоследствии – значение ‘готовый’.
- 3) Метафора: «использование этого средства не ограничивается...случаями, продиктованными внешней необходимостью <...> Метафора – это нечто такое, что с неизбежностью вытекает из природы человека и проявляется не только в языке поэзии, но также – и даже прежде всего – в обиходной речи народа» [там же: 114]. Метафора, таким образом, понимается совершенно в современном смысле – как один из основных механизмов мышления. Рассматриваются различные примеры номинативных метафор (*Kopf* – ‘голова’ и ‘качан’, *Auge* – ‘глаз’ – *Fettauge* – ‘блестка жира в супе’ [там же: 115]).
- 4) Когнитивные модели (ср. модель «вместилище», метафора «Великой цепи бытия» - Лакофф 2003, Lakoff 1989).
- 4а) «пространственные отношения и процессы могут переноситься в сферы непространственных отношений» [там же: 116]. Примеры: *мне пришла в голову мысль, мысль не выходит из головы* [там же].

- 4б) «склонность людей представлять себе процессы, протекающие в неодушевленных предметах, по аналогии с собственной деятельностью» [там же: 117]
- 5) Метонимия. «Перенос названия на основании пространственных, временных или каузальных связей» [там же: 117]. Пример – *Hand* – ‘рука’ в значении ‘почерк’, *Jugend* – ‘молодость’ и ‘молодежь’ и т.п.

Механизмы спецификаций значений в окказиональных употреблениях, представление о коммуникативном намерении индивида как импульсе к изменению узуса, роли когнитивных моделей в производстве новых значений, представление об истории языка как о погружении в логику отдельного явления, а не сравнения двух и более явлений, – все эти идеи явились определяющими для производимого в главах 3-5 анализа.

В русском языкознании к подобной логике, «по своим основным устремлениям младограмматической» [Виноградов 1977: 100], обращается М.М. Покровский для изучения закономерностей семасиологических явлений. Показательно, что к этой проблеме М.М. Покровский «подходит от историко-морфологических исследований в области греческого и латинского языков» [там же] – этот факт подтверждает изложенный в предыдущем параграфе тезис У. Чейфа о семантике как о следующем этапе «восхождения» от «твердой почвы» морфологических наблюдений. Изменения значений слова поставлены в тесную связь со структурой слова (морфология и словообразовательный тип), выделяемые модели изменений соответствуют, фактически, двум типам мыслительных операций – аналогии и представлению, то есть, с одной стороны, трактуется в логически категориях, а с другой – в терминах психологических процедур. Особое внимание, которое М.М. Покровский уделяет частеречной категоризации и ее роли в реализации семасиологических законов, подводит к идее системности в языке (до формирования сосюрковского представления о языке как системы знаков). Изложение М.М. Покровским анализа семантических изменений можно представить в следующей рубрикации:

1. Новообразования по аналогии;
2. Понятие семасиологического закона;
3. «Взаимная ассоциация» слов.

Принцип аналогии, «выравнивания парадигмы», происходящее вследствие изначально *ошибочного* употребления сходен с творческим процессом, когда «ошибки» совершаются намеренно и тем самым вскрывается потенциал языковой системы. Но в отличие от творческого процесса, реальные сдвиги в языковой системе в результате действия аналогии – явления постепенные и неосознаваемые, приводящие, однако, к колоссальным изменениям (Покровский приводит пример смещения склонений на *-*ǫ*, *-*ǫ̆* в истории русского языка). Покровский опирается на известную работу А. Дарместетера «Жизнь слов, изученная через их значения» (A. Darmestter. *La vie des mots tudie dans leurs significations*, 1887).

Дарместетер пишет, что «в каждый отдельный момент язык находится в состоянии равновесия, более или менее продолжительного, между двумя противоположными силами – консервативной, стремящейся удержать языковую систему в существующем состоянии, и другой, революционной, стремящейся продвигать язык в новых направлениях» [Darmestter 1887: 6]. Эта вторая сила действует по следующим трем направлениям: звуковая вариативность (меняют произношение), изменения по аналогии (меняют морфологический строй), неологизмы (меняют лексическую систему). «Данную грамматическую форму и окончание, общее для нескольких слов, аналогия распространяет, вопреки этимологии, фонетическому закону, на целый ряд других слов, лишая их тем самым их исконной формы и подводя их под одну общую модель <...> Расширением зоны действия уже существующих элементов системы аналогия создает совершенно новую систему» [там же: 7].

Покровского интересуют, однако, не просто «новые системы» в морфологии, но системы семасиологические, которые, как он показывает на примере истории латинского и древнегреческих языков, тесно связаны с ними.

«Подобно тому, как сходные формы объединяются в одну категорию и затем имеют одинаковую морфологическую судьбу, так и слова со сходным значением проходят сходную семасиологическую историю. Два или более языка получают одинаковое морфологическое новообразование при наличии одинаковых поводов к нему; при том же условии возникают и одинаковые семасиологические новообразования в разных языках» [Покровский 1959: 80].

Так, например, отглагольные существительные соединяют в себе переходные и непереходные значения соответствующих глаголов (*удаление, отбой, отвод*). Отмечается также, что у отглагольных прилагательных и имен существительных латинского языка совмещаются активные и пассивные значения. Подобным же образом русские имена прилагательные на *-ный* также совмещают в себе эти значения: *отводной* как ‘отводящий’ (*канал, ров*) и как ‘отведенный’, предназначенный для отвода (*отводной участок земли*) [Виноградов 1977: 101]. Покровский отмечает также распространенность перехода в значениях прилагательных от смысла ‘полный чего’ к смыслу ‘похожий на что’ (лат. *lapidosus panis* – ‘хлеб, похожий на камень’), В русском языке *малинистый* – ‘богатый малиной’ (*малинистые места*), ‘напоминающий малину’ (*малинистый вкус*). Большинство значений, однако, сегодня представляют собой архаизмы: *волнистый* в значении ‘полный волн’, *серебристый* – ‘закрывающий в себе серебро’ (закрепилось в профессиональной терминологии – *серебристый свинец*) (см. Покровский 1899, Виноградов 1977).

Все эти наблюдения подводят Покровского к необходимости определения семасиологического закона (по аналогии с законом фонетическим) – возникает вопрос о «закономерностях психологических явлений языка» [Покровский 1959: 67]. В отличие от фонетических изменений, которые «видны эмпирически, есть другие, более сложные и более субъективные явления в жизни каждого языка» [там же]. Покровский последовательно рассматривает разные значения одной и той же фонетико-морфологической единицы и настаивает на необходимости не относиться к ним как бессмысленным «фактам», «данностям»,

а задаться вопросом о причинах такого многообразия: «Прежде всего нас может поражать та масса значений, которую приобретают отдельные слова» [там же]. Приводится пример лат. *judicium* и спектр значений этого слова: ‘судопроизводство’, ‘приговор судебного учреждения’, ‘совокупность людей, вершащих суд’, ‘место отправления судопроизводства’, ‘суждение о чем’. И хотя Покровский не формулирует типы таких преобразований (как это сделано у Пауля), но рассуждение идет в той же логике (поэтому не будем здесь повторять). Основным законом (постулат), выводимый Покровским таков: «Изучать историю значения слова необходимо в связи с другими словами, синонимичными с ними и принадлежащими к одному и тому же кругу представлений <...> Семасиологический процесс распространяется на целые категории слов» [там же: 75].

«Сфера представлений» - неоднозначный термин у Покровского: с одной стороны, под этим, очевидно, подразумевается «тематический класс», с другой – зачастую этот термин употребляется как «семантическая сфера действия». Так, рассматривая образование значения ‘говорить’ у греческого *agoreuo*, Покровский показывает, что изначальной «сферой представления» была ситуация политического собрания, поэтому этот глагол означал ‘приходить на это собрание, участвовать в нем’, что подразумевало ‘говорить на этом собрании’ (отсюда *agoretēs* – ‘оратор’, *agoretus* – ‘красноречие’). Однако уже у Гомера этот глагол употреблен в значении ‘рассказывать’. Отдельно рассматривается «принцип взаимной ассоциации слов, сходных по значению, приложимый к морфологической категории» [там же: 80] – на примере так называемых *nomina actionis*. Основное значение таких имен – процесс действия, однако они могут заключать в себе также значения результата действия, орудия, места действия: ср. лат. *vestitus* – ‘одевание’, ‘одежда’, *aratio* – ‘пахание’, ‘пашня’. Этот принцип действует и на уровне синтаксического управления: изменение конструкций одного и того же глагола, управляющего разными падежами. Пример – *симпатизировать с кем* (немецкая калька) в русском языке

конструкция вошла в «ассоциацию» с конструкцией *сочувствовать кому* – в результате чего управление глагола *симпатизировать* изменилось [Покровский 1895: 26]. «Слова и их значения, - пишет Покровский, - живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются... независимо от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по основному значению» [Покровский 1959: 82]. И далее основной тезис: «Понятно... что такие слова имеют сходные или параллельные семасиологические изменения и в своей истории влияют одно на другое; понятно также, что эти слова употребляются в сходных синтаксических сочетаниях» [там же]. Так, например, общее глагольное управление свойственно не только сходным глаголам (как в случае *симпатизировать* и *сочувствовать*), но и «прямо противоположным по значению». «Так, например, известно употребление инструментального падежа после глаголов, обозначающих ‘быть вместе’, ‘сходиться’, ‘соединяться’ и т.д.: по латыни при *misceo* и *mixtusъ*, ст.-слав. **оженна ѡъ** и пр. По аналогии с этими глаголами, такую же конструкцию (вместо коренного аблатива) приобретают в языках арийских и славянских и глаголы ‘разлучать(ся)’, ‘расходиться’: **староъ не распустивъ сѧ** ‘не разлучившись со старухой’ и т.д.» [Покровский 1895: 28]. Другой пример из французского языка: фр. *noble* – хищные птицы, предназначенные для охоты знати, *noblesse*, по антитезе остальные птицы назывались *ignoble* [Darmestter 1887: 129]. «Слова, сходные или прямо противоположные по значению, - пишет Покровский, - друг с другом ассоциируются и проходят сходную параллельную историю» [Покровский 1895: 28]. Покровский формулирует два значимых постулата:

1. «Возможны такие случаи, когда наша мысль, употребляя слово для выражения известного представления, не нуждается в выражении представления противоположного: ср. оборот *смотреть свысока*, при котором нет оборота, противоположного по значению» [Покровский 1895: 33].

2. «...при столкновении двух слов со сходными значениями возможны два выхода: либо дифференциация значений, либо исчезновение одного из них» [там же].

Эти явления сегодня хорошо известны в лексической семантике (напр., Апресян 1995, Новиков 2011), однако в концепции Покровского они рассматриваются как относящиеся, в первую очередь, к сфере представления, а не к самим словам. И хотя это презумпция не раскрывается детально, из нее можно сделать выводы о том, как образуется концептуальное содержание слова. Так, например, значение 'житель города' было (вплоть до последней трети XVIII в.) общим значением для двух слов – *горожанин* и *гражданин*, впоследствии у второго слова это значение исчезает, однако само слово (*гражданин*) не только не уходит из языка, но становится социально-политическим концептом, «переходя» в ту «сферу представления», которая изначально была общей для обоих слов, но в случае *горожанина* не повлияла на его концептуальное содержание. Речь идет о сфере представления, связанной с оппозицией церковнославянизм-русизм – оппозицией бытового и культурного, принадлежащего практике жизни – или относящегося к идеологии. *Гражданин* становится термином политической идеологии, и его концептуальное содержание меняется в зависимости от типа этой идеологии, поэтому слово переживает этап фактической омонимии *гражданин-1*, *гражданин-2* (конец XVIII в.) прежде чем оформляется в определенный концепт русского социально-политического языка (первая треть XIX в.) (см. об этом Гл. 4).

Первый постулат Покровского дает неожиданный взгляд на историю политического значения у слова *общество*. В отношении этого слова вопрос о его смысловой непрерывности довольно труден для решения: семантический потенциал идеи общности, заложенный в корне, обеспечивает смысловой структуре этого слова, в сущности, колоссальные возможности. Возникает вопрос: как мы можем диагностировать трансформацию смысловой структуры (а не просто окказиональное употребление)? Здесь критерием может выступать как раз соединение с понятием, противоположным по значению, или отсутствие

такого соположения. Так, пока *общество*, говоря словами Покровского, «не нуждается в выражении противоположного» - мы не имеем дело со значением политическим. Как только таким соединенным с ним противоположным понятием становится слово *государство*, понятно, что ситуация коренным образом меняется (см. Гл.5). Эти идеи были развиты в 80е гг. XX в. немецким историком Р. Козеллеком, который писал о так называемых *asymmetrical concepts* – спаренных понятиях социально-политического лексикона, которые имеют свой «идейный вес» исключительно будучи противопоставленными друг другу (*Barbarians – Hellenes, Christian – heathen*, см. об этом Junge, Postoutenko 2011).

Специфическое понятие о «представлении» как источнике потенциально возможных значений слова и движущей силе семантического динамизма развивается в работах А.А. Потебни, составляющих три тома «Записок по русской грамматике». Высказываемые в них идеи во многом пересекаются с изложенными выше, но в целом представляют собой совершенно непохожее и оригинальное осмысление, которое, скорее, не следует даже сопоставлять с другими, а попытаться понять в рамках той концепции, которую последовательно развивает А.А. Потебня. Можно выделять такие разделы:

1. Понятие о слове и «запрет многозначности»
2. «Знак» и значение: механизм семантического развития
3. Представление как «стихия возникающего слова»
4. Движение от общего к частному: содержание «первообразного» слова и спецификация значения

Первый том «Записок...» А.А. Потебня начинает с полемического замечания о том, что «определение отдельного слова как единства членораздельного звука и значения, по-видимому, противоречит обычному утверждению, что “одно и то же слово...в различные времена...имеет различные значения”. Говоря так...под словом разумею лишь звук, причем единство звука и значения будет не более единства дупла и птиц, которые в нем гнездятся»

[Потебня 1958: 13]. Подробно рассматривается история значений слова *верста*, происходящее от *вертеть*, родственное лат. *versus* – «поворот, заворот». Первоначально поэтому, *верста* означает ‘заворот плуга на конце нивы’, затем – ‘длина борозды’. Из этого значения образуется значение ‘путевая мера’ (ср. *верзила*), далее, по метонимическому переносу, – ‘верстовой столб’, откуда появляется дополнительный признак ‘прямой’. От образа движущейся борозды отходит и другое значение – ‘борозда, идущая рядом с другою’, от чего появляется значение ‘пара, ровня’ (*светозарная верста* – о Борисе и Глебе). Далее, метонимический перенос делает возможным обозначение времени через пространство (*сверстник*) [там же: 15].

Таким образом, «слово *верста*, – пишет далее Потебня, – многозначительно; но таково оно лишь ...в словаре <...> действительная жизнь его и всякого другого слова совершается в речи» [там же]. Поэтому, в строгом смысле, разные словоформы (*верста, версты, версте...*) должны быть признаны разными словами. «На деле есть только однозвучность различных слов <...> Однозвучность эта частью оправдывается единством происхождения слов, частью же происходит от уравнивающего действия звуковых стремлений языка» [там же: 15-16]. Такое категорическое неприятие многозначности далеко у Потебни от механического разбиения единства слова на лексико-семантические варианты. При вдумчивом наблюдении хода его мыслей становится ясно, что это неприятие связано с неудовлетворительностью именно *статической* модели смысловой структуры слова. Он пишет: «Звук *верста* означает меру долготы, потому что прежде означал борозду; он значит борозду, потому что прежде означал ‘поворот плуга’ и так далее до тех пор, пока не остановимся на малодоступных исследованию зачатках слова как единства звука и значения» [там же: 17]. Таким образом, развивая свое рассуждение в логике, обратной принятой позже, в рамках сосюрговской парадигмы, идее о произвольности языкового знака, Потебня пишет о динамическом отношении между означающим (которое он называет «знаком слова») и означаемым («значением»):

«Понятно, что функции знака и значения не раз и навсегда связаны с известными сочетаниями восприятий и что бывшее прежде значением в свою очередь становится знаком другого значения» [там же].

Из этого суждения видно, что под «знаком» понимается все-таки нечто большее, нежели просто «означающее», и это закономерно: очевидно, что сама логика разбиения слова на *signifiant* и *signifié* чужда Потебне. Так, утверждение о том, что *значение может стать знаком другого значения* – есть не что иное, как определение коннотации (приводившееся выше). Далее он пишет о «знаке»: «Знак в слове есть необходимая (для быстроты мысли и для расширения сознания) замена соответствующего образа или понятий; он есть *представитель* того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением» [там же: 18]. Представление называется также «основанием сравнения в слове» [там же: 19] и указывается, что оно «составляет стихию возникающего слова» [там же]. Названы, фактически, два источника семантической динамики: переосмысление отношения элементов представления (изменение «основания сравнения») и коннотация.

Особенный интерес представляет собой первый тип источника (о *переинтеграции* – см. Кубрякова 1970 – в большинстве случаев этот термин применяется к уровню словообразования и морфологии, а не семантики). С ним Потебня связывает «необходимость исследования мыслительного содержания слов» [Потебня 1968: 5]. Для того, чтобы понять, как вообще возможна эта внутренняя динамика в осмыслении «представления» в понимании А.А. Потебни, необходимо обратиться к концепции «первообразного слова», которая, судя по всему, является в данном случае определяющей. Здесь Потебня настаивает на двух положениях: во-первых, что развитие мысли происходило в слове от общего значения к конкретным (а не наоборот); во-вторых, что считать, что «корень означает признак, замечаемый в производных словах» [там же: 14] – является грубой ошибкой. Содержание первообразного (до грамматической категоризации) слова образует синкретичное присутствие субъекта и объекта

действия, то есть некий обобщенный «образ» ситуации (ср. представление о первоначальном синтаксическом распределении у Теньера и Гийома). «Откуда мы можем знать о ходе развития мысли от конкретного к абстрактному, если... анализ указывает нам на закон, состоящий в том... что всякое познание и наименование есть подведение единого и частного под (прежде существующее) общее?» [там же: 12]. Рассматривается следующий отрывок из сказки Ив. Манжура (приведем целиком разбор):

«Казало хлопья: «як купили нашi горилки, так батько «е!» (=э), и мати «е!», и я «е!»; а як купили риби, и батько «тьху!», и мати «тьху!», и я «тьху!» (т.е. пили водку – кричали, ели рыбу – кости сплевывали).

Предположим, что средства для отдельного выражения субъекта (батько, мати, я) и объекта (горилка, рыба) еще отсутствуют и что говорящему только посредством слов междометного происхождения нужно выразить свою мысль (изъявительно) или волю (повелительно). Если бы с такими словами связывалась только мысль о действии, они никакого практического значения получить не могут. Они будут повествованием или повелением лишь тогда, если, примерно, при «тьху» будет разуместься не одно вырванное из связи действие плеванья, но и тех, что плевали, и то, что они выплевывали» [там же: 11].

Идея того, что «первообразное слово» содержит в себе синкретичный образ целостной ситуации, предполагает, что при дальнейшей жизни слова ему будет сопутствовать распадение этого синкретизма, то есть увеличивающаяся степень конкретизации значения. Поэтому считать, что некое «общее значение» корня проявляет себя в производных словах – значит исказить процесс этого «производства». Такое понимание «уничтожает большое расстояние, отделяющее эти слова от предполагаемого корня» [там же: 14]. При этом Потебня замечает, что «отвлеченный признак слова не предшествует производству (наименованию), а появляется вместе с ним» [там же: 15]. Здесь же мы и сталкиваемся со своего рода апорией, присущей онтологии языка и заключающейся в том, что «имя вещи, произведенное от корня, может сказывать лишь один ее атрибут» [там же: 16]. Но именно в этом и заключается имманентно присущая языку динамика «мыслительного содержания»: «Поэтому имя, если

даже оно применено к одному неотделимому предмету, необходимо означало и другие предметы, имевшие тот же атрибут, то есть означало разряд вещей <...> и так “до тех пор, пока язык, как средство сообщения и точного мышления, не принуждал все более и более ограничивать и точнее определять это общее значение” (М. Мюллер)» [там же].

Именно в этом ключе возможно понять семантическую историю слова *общество*, трансформации которой, говоря словами Покровского, «прежде всего, поражают»: от нерасчлененного представления о соединении в ситуации, в отношении к объекту, в конкретном месте пребывания и т.д. в древнерусский период – к концептуализации по когнитивной модели «общество – персона», где слову присуща семантическая роль агенса. Все эти изменения можно лишь перечислять как совершенно хаотичные, если не принять в расчет предложенной Потебней логики: целостная структура представления как бы дробится на составляющие признаки («основания»), связь с которыми (актуализация) меняется во времени по линии увеличения степени конкретизации, стремясь к достижению полноты целостного представления (то есть путь от общего – к конкретному – к целостному). Эти положения развиваются в Гл. 5 применительно к анализу истории слова *общество*.

§3. Слово как объект исторической лексикологии в концепции В.В. Виноградова.

Исторической лексикологии В.В. Виноградов отводил важное место в лингвистической теории, полагая, что «так же, как принято говорить о грамматическом строе языка, следует говорить о его лексическом строе» [Виноградов 1999: 5] и подчеркивая необходимость «установить более точные и определенные методы исторического исследования лексической системы и слова как элемента этой системы» [там же].

Для В.В. Виноградова значимость исторического исследования слова проистекает не из «охранительных тенденций» [Виноградов 1977: 193] с диктуемым ими принципом «приведения в стройную совокупность всех сокровищ <языка>, разрозненных временем и местом» [Шишков 1815: 21] (цит.

по Виноградов 1977: 193), а, в гораздо большей степени, из потребности глубинного осмысления сущности «живого слова» [Виноградов 1999: 29]. Подчеркивая, что именно современная система употреблений данного слова должна послужить отправным пунктом исторического анализа, В.В. Виноградов замечает, что семантический объем современного слова «бывает уже, хотя и отвлеченнее и логически расчлененнее» [там же]. Однако В.В. Виноградов не останавливается на констатации этого, в сущности, очевидного факта, а приводит ему в «противовес» тонкое наблюдение о том, что «в языке, наряду с отражением живых идей современности, громадную роль играют унаследованные от прошлого...технические средства выражения» [там же: 5]. Так возникает задача «разработать семантическую историю слов» [там же: 6] – историю, «мыслимую в границах изучаемого языка» [там же: 13]. Сформулированная задача осложняется действием антиномий историко-лингвистического анализа, выделяемых В.В. Виноградовым. Вслед за О.Г. Ревзиной представим их в виде пяти постулатов:

- а) «Историческое изучение словаря невозможно без знания истории материальной и духовной культуры, но оно не должно состоять в механическом сцеплении фактов быта и мировоззрения с формами языка [Виноградов 1999: 6];
- б) «...для понимания строя лексической системы, свойственной тому или иному периоду в развитии языка, необходимо знание типов мышления, свойственных разным эпохам, необходимо отчетливое представление исторических законов связи понятий и значений» [там же]. Заколдованный круг состоит в том, что «открытие закономерностей в исторических изменениях форм и типов мышления невозможно без изучения истории языка и... истории слов и их значений» [там же];
- в) История языка «немыслима без знания истории общественной мысли» [там же], однако «идеология и язык не являются зеркальным отражением друг друга» [там же: 5];
- г) «Слова двигаются и изменяются вместе с языком. Изменения в общей системе отражаются на употреблении и значении отдельных слов. Между тем исследователю истории слов и значений приходится извлекать слова из исторического контекста и рассматривать их в изоляции от окружающей их семантической сферы» [там же: 8];

д) «Субъективные свидетельства современников о семантическом строе языка, о понимании его в ту или иную эпоху, о времени его появления должны быть подвергнуты исторической критике <...>, но вместе с тем нельзя забывать, что объективно-исторический анализ семантических изменений слова – лишь производная форма непосредственного анализа самих говорящих субъектов» [Виноградов 1977: 39].

[Ревзина 2013: 185-186].

Другой важной проблемой является вопрос о тождестве слова – о «единстве смысловой структуры слова и потенциальном многообразии его исторических разновидностей» [Виноградов 1999: 16]. Исследование истории слова не предполагает с обязательностью этимологический анализ постольку, поскольку «этимология воссоздает генезис и дальнейшее...бытование морфологической, а не лексической единицы» [там же: 8]. Цель историко-лексикологического анализа слова, в отличие от этимологического, - проследить «последовательность и ход изменений значений слова, разъяснение тех реальных исторических условий, в которых протекали эти изменения» [Виноградов 1977: 39]. Возникает вопрос о семантических границах слова и об изменении этих границ: «границы слова определяются его функциями в составе фраз и его местом в общей системе языка» [Виноградов 1999: 14]. (Здесь возможна параллель с «психологическим» представлением слова у И.А. Бодуэна де Куртенэ, проводящего границы слова как семасиолого-морфологического единства – см. Бодуэн де Куртенэ 1963).

Критерием признания тождества слова является «непрерывность его историко-семантического развития» [Виноградов 1977: 39], под которой понимается «как активное употребление соответствующего слова в разных последовательно менявшихся системах языка, так и пребывание его, иногда на протяжении столетий, в архивном фонде данного языка или в его пассивном словаре» [там же].

С точки зрения проблемы «тождества меняющегося слова», развивая логику В.В. Виноградова, можно выделять четыре типа «семантических историй» слов:

1. Фонетический облик слова остается неизменным в то время как обозначаемый им референт существенным образом меняется во времени (предметно-бытовая лексика – *хлеб, стол* и др.);

2. Фонетический облик слова подвергается изменению, референт остается неизменным («Тот предмет, на который указывало слово *чьбан*, не изменился от того...что стал через столетие называться *жбан*» [Виноградов 1999:18]);

3. Фонетический облик слова не меняется, но слово переживает семантические трансформации (к этому типу относится, например, слово *общество* и другие слова с темпоральной семантикой – см. об этом Гл. 2);

4. Слова с «циклическими процессами» (А.А. Поликарпов), для которых можно назвать момент появления и исчезновения (В.В. Виноградов приводит пример слов *нигилизм, общественник, народник* – см. Виноградов 1999: 23).

Из формулируемых постулатов В.В. Виноградова и их последовательного аргументированного раскрытия следует ряд методологических принципов, важнейшим из которых является *принцип самоценности отдельного слова*. Как было показано, В.В. Виноградов отнюдь не отрицает факт нерасторжимой связи отдельного слова с лексической системой языка и даже настаивает на необходимости изучения отдельных «историй» лишь на фоне общих языковых процессов (не только лексического, но и морфолого-синтаксического уровней). Принцип самоценности отдельного слова находит применение в том, что В.В. Виноградов называет «проекционным методом»: «Слово выносится за пределы индивидуальных и коллективных языковых сознаний, языковых систем. Оно рассматривается как исторически данный объективный факт. Оно проектируется

во-вне, как своеобразная реальная сущность...как некая независимая в своем бытии “вещь”» [там же: 14].

Сегодня, в период бурного развития корпусной лингвистики, подобная методологическая установка звучит едва ли не как вызов – в том смысле, что «квантитативный компонент языка» (В. Плуноян) все чаще играет роль гаранта объективности и достоверности анализа. Иначе говоря, всякий историко-лексикологический демарш должен, с этой точки зрения, основываться на статистических данных, включающих охват солидного корпусного материала (доступного, в виду своего масштаба, лишь машинной обработке). Однако уже в настоящее время идеология корпуса становится предметом серьезных дискуссий среди лингвистов. Так, на конференции по проблемам корпусной лингвистики, составившейся в январе 2015 года в Париже, сомнению был подвергнут сам тезис о «представительности» данных корпуса: «Что значит “представительный”? Каковы критерии такой “представительности”?» [Ayes-Bennett W., Colombat B. 2015: 5]. «Можно констатировать, что данные, организованные в виде корпуса, приняли в лингвистике исключительный статус, однако они далеко не всегда коррелируют с теоретическими установками социолингвистики (фактически развивая лишь количественный аспект, обрабатываемый техническими средствами). Совсем недавно мы стали свидетелями эпистемологического “поворота цифровых гуманитарных наук” [digital humanities – Г.Д.], который создает новые объекты исследования и новые подходы к функциональной совместимости “цифрового подхода” и междисциплинарности» [Baude O., Dugua C. 2015: 9].

Существенный недостаток такой методологии, как представляется, состоит в том, что корпус «находит» ровно то, что было задано в качестве искомой единицы, – таким образом, исследователь «на выходе» получает заведомо то же самое, что имелось «на входе» с разницей лишь квантитативной.

Прочтение в контексте современной лингвистики работ В.В. Виноградова («История слов» которого – не стоит забывать – превосходит 1000 страниц)

позволяет не принимать методологию корпуса как априорную данность, а, напротив, попытаться соединить представление о языке как о корпусе/узусе (см. Плунгян 2008) с традиционным для XX века представлением языка как абстракции, конструкта. Изолируя слова как «объективный факт», возможно создать модель его «семантической истории». В.В. Виноградов настаивает на том, что «слово раскрывается как *отдельный исторический факт, который как бы самостоятельно развивает заложенные в нем потенции семантических изменений*» (выделено мной – Г.Д.) [Виноградов 1999: 8]. Понятие семантического потенциала, используемого в современной семантике (см. §4), Виноградов относил именно к языковой темпоральности, жизни языка во времени. Показательно, что представление языковой темпоральности как «развития языка», «прогресса», очевидно, не является для него удовлетворительным – даже употребляя эти выражения, Виноградов приводит альтернативное выражение («семантическое движение слова»). В этом проявляется предельная осторожность, с которой исследователь подходит к историзму, чреватому искажением подлинной «жизни слова» в угоду современным представлениям о понятии, выражаемом словом: «Истории слова грозит опасность превратиться в легенду о слове, подсказываемую господствующей теорией современности» [там же: 31]. Речь идет о таком представлении времени языка, при котором это время не мыслится как линейное, а мыслится, скорее, как движение в трехмерном пространстве, где возможны повторы, упущения, провалы и прорывы. Поэтому и признается, что «можно следить за историческими судьбами слова с любого момента его жизненного пути» [там же: 13].

При свойственной Виноградову риторичности и метафоричности теоретических рассуждений они оказываются удивительно точными и пронизательными, будучи соотнесенными с конкретным языковым материалом. Так, например, Виноградов пишет: «Слово как бы продергивается сквозь разные языковые слои, которые оставляют на нем, его значениях, следы своих

преобразований» [там же: 8]. История слова *общество* как раз показывает, как это слово именно «продергивалось» через синтаксический «слой», словно высвобождаясь от таких «зависимостей», как *общества между кем, к обществу способный, делать что обществом* и др. вплоть до утверждения независимой синтаксической позиции (агенса). Но «следы» преодоленных «слоев» остались на значении этого слова – и современные конструкции типа *общество кого* отражают не сколько идею «состава», сколько идею того, что названные «участники» *связаны* отношением общности.

§4. Проект исторического словаря и когнитивный подход.

Теория исторической лексикологии В.В. Виноградова была ориентирована на постепенную реализацию масштабного проекта по составлению «Исторического словаря русского литературного языка XVIII – XIX вв.». В статье «Вопрос об историческом словаре русского литературного языка XVIII – XIX вв.» Виноградов подробно излагает этапы лексикологической мысли в России, показывая, что мысль о необходимости такого словаря «была осознана очень давно – почти при самом зарождении русской лексикографической науки» [Виноградов 1977: 192]. Виноградов показывает, что изначально такой интерес был подчинен «охранительной тенденции», откуда «выросла традиция...помещать в словаре вообще слова, составляющие принадлежность языка в разные эпохи его существования – без всякой исторической перспективы» [там же: 193]. Такой подход, замечает Виноградов, не мог быть удовлетворительным «для знатоков русской словесности». Так, приводятся слова П.А. Вяземского: «Жаль, что в наших словарях не приводят примеров различного употребления слов и выражений, какими являются они в разных литературных эпохах и у разных писателей. Наши словари – донныне более или менее полное собрание слов, а не указатели языка, как французские словари, по каким можно пройти почти полный курс французского языка и французской литературы» («Старая записная книжка», цит. по [там же]).

Виноградов с сожалением констатирует, что такой проект не был реализован, хотя и предлагался акад. П.С. Билярским в (50-е гг. XIX в.), выступавшим против механического составления списков слов, предпринимаемого И.И. Срезневским. П.С. Билярский говорил об «историко-стилистическом словаре». Билярский настаивал на «необходимости исторических исследований о русском литературном языке в духе “тех высших задач”, какие указаны для филологической всякого отдельного языка в известном «Введении» Гумбольдта. “Это направление...имеет целью оценку образования языка по отношению к умственной жизни народа” <...> П.С. Билярский считал основным средством изучения <русского языка> составление исторического словаря...<и считал, что> “..и общий словарь древнего русского языка должен быть составлен не иначе, чтобы прямо быть пособием для истории русского языка”» [там же: 194]. Замышляя создания словарей языков писателей от «Ломоносова до новейших», Билярский предлагал путь к созданию исторической стилистики.

Виноградов подчеркивает, что следует четко отделять «средневековый период» от периода XVIII в., когда «самая историческая перспектива в семантическом движении слова прозрачнее и глубже» [там же: 196].

Идея исторического словаря не должна также смешиваться с проблемой «академического словаря современного русского языка», потому что в нем «принцип историчности целиком подчинен задаче современной языковой нормализации» [там же: 198]. Цель исторического словаря, как ее определяет Виноградов, такова: «Воспроизвести громадную, складывающуюся из тысяч звеньев цепь таких “событий в области мыслей”. Но этого мало: он заложит твердые основы исторической семантики русского языка, он поможет открыть закономерности в историческом движении русского народно-языкового творчества» [там же]. Виноградову, думается, было бы близко определение исторического словаря, данного в конце XIX в. французским филологом А. Дарместетером: цель такого словаря - воплотить «поколения мыслей и точные формы, в которых они обрели воплощение» [Darmesteter 1887: 113]. Метафора

жизненной преемственности и временной непрерывности («поколения») была не чужда Виноградову (как мы видели из предыдущего параграфа). Сегодня, несмотря на то, что ситуация, о которой Виноградов писал, что «историческая грамматика и историческая семантика...находятся в жалком положении» [там же: 192], уже давно не актуальна, однако идея исторического словаря – как она понималась Виноградовым – актуальности не потеряла. Напротив, теперь проблема описания «семантической истории слов» представляется тем более заостренной, что мы отдаем себе отчет в том, как мало, в сущности, известно об этой истории, что, имея доступ к большому количеству материала (Словарь древнерусского языка XI-XIV вв., Словарь русского XI-XVII в., Словарь языка XVIII в.), мы можем признать, что традиционное лексикографическое описание не является вполне удовлетворительным для исторического аспекта. Ведь чтобы показать механизмы семантической динамики конкретных слов, необходима высокая степень исследования самих возможных механизмов и их типов. Проблема составления исторического словаря тем более актуальна, что уже накоплен богатый опыт исследований по когнитивной семантике. Несколько огрубляя, можно сказать, что проблема семантического динамизма сводится к проблеме о сущности полисемии – ее механизмах и, шире, ее «лингвистической онтологии». Как отмечает Г.И. Кустова, роль полисемии в языке не стоит недооценивать: «Довольно неправдоподобным выглядит предположение, что словарь – это бескрайнее море уникальных и непредсказуемых данностей, в котором нет никакой системы и системности, за исключением отдельных ростков регулярной многозначности» [Кустова 2004: 18]. Те задачи, которые формулирует Г.И. Кустова в отношении исследования полисемии, представляются исключительно важными и для разработки теоретической базы исторического словаря. Такой задачей является «описание своего рода “когнитивного словаря”, то есть тех концептуальных структур, которые связаны с языковыми знаками...и благодаря которым эти знаки можно распространить на другие ситуации, и “когнитивной

грамматики”, то есть правил и механизмов, которые определяют такое распределение (языковое расширение)» (разрядка моя – Г.Д.) [там же: 11]. Г.И. Кустова опирается на понятие семантического потенциала слова (вспомним виноградовское: «Слово раскрывается как отдельный исторический факт, который как бы самостоятельно развивает заложенные в нем потенции семантических изменений» [Виноградов 1999: 8]). Оперирование этим понятием предполагает следующие две процедуры: 1) определить, «что можно извлечь из исходного значения и связанной с ним ситуации», 2) «на что можно “распространить” знак, какие новые ситуации вовлекаются в его семантическую орбиту» [там же]. В результате этих процедур можно прийти к конечному набору «значений определенных типов, которые в большинстве своем являются закономерными (и во многом предсказуемым) результатом применения основных стратегий семантической деривации к семантическому материалу исходного значения и связанной с ним ситуации» [там же]. Важно то, что «когнитивный подход к описанию полисемии предполагает не инвентаризацию и классификацию существующих значений, а выявление общих закономерностей их образования. Это позволяет восстановить связи между значениями слова и представить их как единую систему» [там же: 10-11].

Анализ семантической истории слов *гражданин* и *общество* (гл. 3-5) опирается на такие методологические установки и предлагает отдельные разработки построения такого рода систем («когнитивные карты»), на основании которых может быть в дальнейшем разработана концепция исторического словаря социально-политических понятий.

Глава 2

Понятие в историческом процессе

§1. Темпоральная структура понятий в концепции Р. Козеллека.

Возрастающая на протяжении XX века специализация отдельных областей научного знания в настоящее время сменяется тенденцией поиска объединяющих разные области задач, а понятие междисциплинарности звучит как нечто «передовое» и многообещающее (см. классификацию междисциплинарных исследований в [Федорова 2014]). В частности, именно идея междисциплинарности создала *the cognitive sciences*¹⁴. В то же время многими исследователями констатируется «кризис социальных наук». Так, социолог Д. Хапаева в монографии «Герцоги республики в эпоху переводов. Гуманитарные науки и революция понятий» пишет: «Сколь бы хороши ни были когнитивные науки...этим направлениям не удалось завладеть умами так, как...структурализму» [Хапаева 2005: 21]. И далее: «Никакая объединяющая парадигма не пришла на смену структуралистской...Появились новые способы осмысления, но ни один из них не смог наложить свой отпечаток на тотальность всего исследовательского поля» [там же: 22].

Приобретающее на протяжении последних десятилетий за рубежом направление исследований *Begriffsgeschichte* (история понятий), как представляется, наглядно являет собой обе тенденции – это и пафос междисциплинарности («сотрудничество» истории с лингвистикой), и одновременно поиск возможностей преодоления разрыва не столько между разными научными областями, сколько между их национальными вариантами. В.М. Живов об этом пишет: «Можно предположить, что ширящийся интерес к *Begriffsgeschichte* в международных гуманитарных исследованиях связан с центральностью для них исторической (а не синхронно-дескриптивной)

¹⁴ Классические работы о возникновении и специфике когнитивной науки: Gardner 1985, Lepore 1999, Changeux 2008, Andler 2004.

проблематики, с постструктуралистским преимущественным вниманием к конструированию процессов, а не состояний» [Живов 2009: 7].

Оформившийся в области исследовательских интересов представителей Билефельдской историографической школы¹⁵ и распространившийся в западной науке благодаря работам Р. Козеллека, метод *Begriffsgeschichte* сегодня активно применяется к исследованию российской истории и культуры¹⁶. Впрочем, методом *Begriffsgeschichte* является лишь условно — это, в сущности, «зонтиковый термин», объединяющий различные подходы к анализу того, что Р. Козеллек обозначил как «темпоральная структура понятия».

Описанию и интерпретации идей Козеллека на данный момент посвящено уже немало отдельных статей и сборников, докладов¹⁷; поэтому здесь мы сосредоточим внимание на центральном¹⁸ тезисе Козеллека о том, что язык выступает как индикатор исторических событий, но одновременно является и его фактором. Это положение, могущее на первый взгляд быть принятым как достаточно тривиальное утверждение о взаимосвязи истории языка и общества (шире – языка народа и его культуры, истории), требует, однако, вдумчивого прочтения в контексте тех вопросов, которые ставит перед собой Козеллек.

Один из центральных для истории вопрос о сущности события ставится в связь с его вербализацией: «Произнесенное слово или прочитанный текст, речь <...> - все они скрещиваются в актуальном воплощении происходящего в событие, которое всегда состоит из элементов внеязыковых и языковых действий» [Козеллек 2006: 39]. Более того – «как только событие станет

¹⁵ О Билефельдской школе в историографии см., напр.: *Турыгин А. А.* «Билефельдская школа»: теоретико-методологические основы и их критика в современной историографии ФРГ: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09 Ярославль, 2006. РГБ ОД, 61:07-7/210.

¹⁶ Библиографию работ см. в: *Понятия о России. К исторической семантике имперского периода* / Под ред. Д. Сдвижкова, И. Ширле. М., 2012. Т. 2. С. 444–451.

¹⁷ См., например: *Lehmann, Richter 1996, Palonen 1998, Duncan 2001, Копосов 2006, Guilhaumou 2006, Бедекер 2010, Живов 2009, Живов 2012, Кром 2010, Тимофеев 2010, Зарецкий 2010, Хархордин 2010, Ревзина 2013.*

¹⁸ Важность этого положения Козеллека не только для исторической науки, но и для лингвистики была отмечена и проанализирована в докладе О.Г. Ревзиной «Темпоральная структура концепта», прочитанном на конференции в Институте языкознания РАН «Научные поколения и лингвистические парадигмы цивилизации XX-XXI вв.» 15 февраля 2013.

прошлым, язык превращается в основной фактор, без которого невозможно никакое воспоминание и никакое научное осмысление воспоминания» [там же: 41]. Козеллек делает важную для историка оговорку: «то, что происходит фактически, явно больше той языковой артикуляции, которая к этому привела или это трактует» [там же: 38]. Но речь все время идет об «антропологическом первенстве языка для изложения происшедшей истории». В таком контексте встает вопрос об историческом времени. В связи с этим Козеллек рассуждает о том, что им обозначено как «темпоральная структура понятия»: «Понятие обладает разными временными наслоениями, смысл которых имеет силу на протяжении различных промежутков времени» [Козеллек 2010: 25].

Однако «горизонт ожидания» появляется в темпоральной структуре понятия, по Козеллеку, в достаточно определенный момент, который он называет «переломной эпохой» (Sattelzeiten) – это Новое время. «Именно в переломное время, - пишет, резюмируя эту мысль Козеллека, Н.Е. Копосов, - в основном возникает наша система основных исторических понятий. Раньше слова, которыми обозначаются эти понятия, если даже и существовали, то имели весьма отличные от современного значения. Так, слово «индивид» означало «атом», а слово «революция» - «круговращение планет». Слово «общество» понималось либо в самом широком смысле – как общение между людьми, либо в совсем узком – как деловое партнерство. Слово «государство» (Etat, Staat, state) еще в XVI в. означало сословие (равно как и положение дел), тогда как слово «республика» предвосхищало часть современного понятия государства (идею общего блага). Слова «цивилизация» не существовало вовсе, а слово «культура» относилось прежде всего к возделыванию земли» [Копосов 2006: 18]. Что означает эта «обращенность» - от области опыта (то есть до эпохи Sattelzeiten) к горизонту ожиданий? Приведем емкую формулировку того же Н.Е. Копосова: «В меньшей степени связанные с опытом, понятия становятся гораздо более абстрактными и всеобщими. Они не столько описывают многообразную

реальность, сколько навязывают новую реальность, помысленную в абстрактных и претендующих на общезначимость терминах» [там же].

Понятие темпоральной структуры, несущее, очевидно, немалый смысловой заряд для Козеллека, не получает четкой трактовки в работах по истории понятий, а зачастую принимается как самоочевидный. В результате мысль Козеллека о том, что понятия, обладающие темпоральной структурой, «представляют собой смешение прошлого опыта, современной реальности и ожиданий от будущего» [Козеллек 2010: 27], зачастую сводится к довольно тривиальной метафоре, за которой стоит модель линейного исторического времени от «прошлого» к «будущему».

Козеллек различает событийное время (time of events), которое не входит в противоречие с линейным представлением, и то, собственно историческое время, которое не совпадает с хронологическим. Это специфическое временное измерение присуще «структурам долгой длительности» (long-term structures): «Все события основываются на предзаданных структурах, ставших частью связанных с ними событий, но существовавших до этих событий — в смысле, отличном от хронологического следования» [Koselleck, 2002: 124]. Однако это не означает, что «событийное время» может быть объяснено через отсылку к названным «структурам». «Я имею в виду, — разъясняет далее Козеллек, — что события никогда не могут быть исчерпывающе объяснены умозрительными структурами, как и структуры не могут быть объяснены только событиями. Здесь имеет место эпистемологическая апория между этими двумя уровнями: ничто невозможно полностью перевести с одного уровня на другой» [Там же: 125].

Итак, история измеряется событиями, события же представляют собой микроструктуры, опирающиеся на хронологию (before- and after-structures). Эти микроструктуры, однако, не существуют отдельно от глубинных «структур долгой длительности» и представляют собой частные варианты их реализации. «Структуры долгой длительности» измеряются не хронологическим, а иным временем, которым, по Козеллеку, и является собственно историческое время,

дающее понимание исторических событий и позволяющих прогнозировать их структурные черты см.: Koselleck 2004).

Сущность этих темпоральных структур (структур, содержащих в себе историческое время) Козеллек описывает в «двух категориях истории», которые он называет «область опыта» (Erfahrungsraum) и «горизонт ожидания» (Erwartungshorizont). Козеллек подробно объясняет оба термина, подчеркивая, что в отношении «опыта» речь идет именно о «пространстве», а в отношении «ожидания» — о «горизонте», но не наоборот.

Вот что пишет Козеллек об этой терминологии: «Время, как известно, осмысляется в пространственных метафорах, однако... присутствие прошлого отлично от присутствия будущего. Имеет смысл сказать, что опыт, основанный на прошлом, представляет собой некую область, где множество временных слоев присутствуют одновременно, вне хронологического распределения» [Koselleck, 2004: 259]. Прошлое, таким образом, это некая оконтуренная сущность, обладающая «временными слоями» и присутствующая в настоящем как повторенный и воспроизводимый опыт, который, как говорит Козеллек, «пропитан реальностью» (is drenched with reality).

Совсем иначе обстоит дело с «горизонтом ожидания». «Горизонт предстает как линия, за которой будет открыта новая область опыта, остающаяся пока что невидимой. Степень определенности будущего, несмотря на возможность прогнозирования, сталкивается с абсолютным пределом, поскольку [будущее] не может быть постигнуто эмпирически» [Koselleck 2004: 260–261].

Такое представление о времени, характеризующем историческую событийность, обладает большим объяснительным потенциалом, что и находит применение в конкретных анализах, посвященных формированию «гражданского общества» во Франции, Англии и Германии, истории понятия «прогресса» и «Нового времени», определивших качественно новое отношение к истории. (см.: Koselleck 2002, 2004). Например, «слово “республика”, - пишет

Козеллек в предисловии к «Словарю основных исторических понятий», - некогда бывшее собирательным понятием для всех форм государственного устройства...претендует на то, чтобы обозначать единственно легитимное государственное устройство. Из родового понятия, существовавшего в теоретической систематике, это слово превратилось в историческое понятие, описывающее цель и заключающее в себе ожидание» (разрядка моя – Г.Д.) [Козеллек 2014: 28]. Понятие, таким образом, подверглось *темпорализации*, что проявляется, например, в образовании многочисленных отвлеченных понятий (*республиканство, республиканизм*). Эти понятия «одновременно отражают и движут определённый процесс» [там же: 29] и отсылают «к существованию некоего напряжения между современной политической ситуацией и идеалом, возможным в будущем» [Козеллек 2010: 26]. Так, «понятие “республиканизм” более не описывает наличной реальности, но содержит важный элемент – ожидание; это понятие отсылает к будущему, превращаясь из понятия в проект будущего» [там же]. Новообразованные «-измы» - *демократизм, либерализм, социализм, национализм* и др. – являются индикаторами истории, отражая «медленное и постепенное исчезновение сословных структур общества в Европе» [там же] и «поддерживая альтернативные формы организации общества будущего...эти понятия появились прежде, чем соответствующие им реалии» [там же]. Комментируя эти размышления Р. Козеллека Н.Е. Копосов пишет (о Франции): «В конце XVIII – начале XIX в. происходит настоящий бум абстрактных понятий <...> Именно тогда для обозначения основных социальных групп наряду с нарицательными именами распространяются собирательные <...> Речь идет о таких парах, как *aristocrates/aristocratie, nobles/noblesse, bourgeois/bourgeoisie, paysant/paysannerie*» [Копосов 2005: 63]. В [Копосов 2001] подробно описаны споры юристов во Франции начала XIX в. о том, какие признаки являются «необходимыми и достаточными» для определения понятия *дворянства* (*noblesse*).

Таким образом, на рубеже XVIII-XIX вв. «возникают понятия, которые обозначают вещи, находящиеся далеко за пределами эмпирически осуществимого, но от этого не теряют своего политического или социального значения, а, наоборот, его усиливают» [Козеллек 2014: 31], и «повышенная степень абстрактности понятий задает новые горизонты возможного опыта» [там же]. Справедливо, поэтому, будет сказать, что понятия выступают и как факторы исторического движения.

Концепция «темпоральной структуры понятий», предложенная Р. Козеллеком, безусловно, напрямую затрагивает рассмотренные выше вопросы о языковых изменениях, предлагая, однако, качественно новый и неожиданный взгляд на проблему языкового динамизма. При этом, несмотря на то, что «отличительной характеристикой [немецкого направления истории понятий. — Г.Д.] с самого начала оказывается внимание к слову как таковому, к историко-филологической составляющей анализа интеллектуальных процессов» [Живов 2009: 5], сам лингвистический процесс находится на периферии исследований *Begriffsgeschichte*. В основополагающем для этого направления труде — «Словаре основных исторических понятий» — задача сформулирована следующим образом: «Рассмотреть процесс исчезновения старого мира и возникновение современного через призму истории его осмысления в категориях определенных понятий» [Козеллек 2014: 24]. Одновременно во «Введении» к словарю специально оговаривается, что в исследовании «не планировалось создание обоснованной лингвистически политической семантики» [Там же: 25]. Тем не менее, чрезвычайно важным для Козеллека является разграничение «понятий» и «простых слов» - и здесь его концепция, фактически, распространяется на «минное поле» лингвистики. (С самого начала это центральное для Козеллека разграничение было подвергнуто критике со стороны лингвистов, и в более поздних работах эта мысль высказывалась менее категорично, но отказа от нее не произошло). В предисловии к «Словарю основных исторических понятий» Козеллек пишет: «Мы отказываемся от использования лингвистического

треугольника «слово (наименование) – значение (понятие) – предмет» <...> И слова, и понятия всегда многозначны, это их историческое качество, но они многозначны по-разному. Значение слова всегда указывает на означаемое, будь то мысль или вещь. При этом, хотя значение присуще слову, оно подпитывается также из мысленно намеченного содержания, из устного или письменного контекста, из общественной ситуации. Слово может становиться однозначным, так как оно многозначно. Понятие же, напротив, должно оставаться многозначным, чтобы оно могло быть понятием» (разрядка моя – Г.Д.) [там же: 37]. В качестве примера приводится слово *Staat* (государство). По Козеллеку, оно становится историческим понятием, когда в него «вмещаются» такие смыслы, как: *господство, территория, гражданство, законодательство, юрисдикция, администрация, налог, армия*. «Все разнообразные реалии с их собственной терминологией схватываются словом “государство” и приводятся к одному понятию» [там же]. Далее Козеллек проводит такое разграничение: «Слово содержит возможности значения, понятие объединяет в себе изобилие значений» [там же].

Переводя эти рассуждения на язык лингвистики, мы понимаем, что речь, фактически, идет о фреймовом представлении (Ч. Филлмор), а также различаемом в когнитивной грамматике *active zone* слова (Р. Лангакер), что в отечественной традиции соответствует понятию «семантической сферы действия» (см. об этом [Рахилина 1998: 293]). Однако позитивный (то есть расширяющий понимание) смысл концепции Козеллека заключен как раз в том, что остается не «перекодированным» на язык (и на стиль мышления) лингвистики. В самом деле: конечной целью этих рассуждений является объяснение и прогнозирование исторических событий, а не определение природы слова и семасиологических законов его изменений, поэтому конфликт, касающийся противопоставления «простых слов» и «понятий» должен быть снят через понимание того, ради чего Козеллек настаивал на таком разграничении. Историк Н.Е. Копосов пишет о стоящей за этим «интуицией <того, что> в

исторических понятиях деформируется нормальная семантическая структура, основанная на лингвистической триаде, различающей слова, понятия и вещи <...> что у...исторических понятий имеется какое-то логическое своеобразие» [Копосов 2005: 56]. Копосов проводит аналогию между козеллековскими «основными историческими понятиями» (обладающими темпоральной структурой) и «терминами базового уровня» (в концепции естественной категоризации Э. Рош). «Как в истории понятий, так и в естественной категоризации присутствует мысль о логическом своеобразии понятий более значимого для таксономии уровня <...> Концепция Рош-Лакоффа, как и большинство концепций когнитивных наук, носит весьма статичный характер. Структура категорий и таксономий выглядит в ней как выражение неизменной сущности сознания <...> Напротив, у Козеллека идея логического своеобразия основных исторических понятий включена в динамическую картину исторического становления современного разума» [там же: 58]. (Ср. в этой связи изложенные в §4. Гл.1 мысли об идее исторического словаря с концепциями когнитивной семантики). Идея темпорализации понятий по-новому ставит вопрос о закономерности языкового расширения (Г.И. Кустова) как трансформации *знания*, которое и является «фактором» создания внеязыковой реальности.

§2. Рецепция концепции Р. Козеллека и словари социально-политических понятий.

В настоящее время в европейской гуманитарной науке прослеживается все возрастающий интерес к социально-политической терминологии отдельных языков. Такой интерес – лишь одно из следствий реализации проекта по созданию единого «европейского пространства социальных наук» (ESSE – «Espace des sciences sociales européen»). ESSE - международный проект, объединяющий исследователей из различных областей гуманитарной науки – какой она предстает в различных культурно-национальных традициях – с целью «заложить эпистемологические основы взаимодействия» [Schultheis 2010: 7] и

«создать международную интеллектуальную арену» [там же: 8], что позволит «дистанцироваться от категорий, принимаемых за априорные в научных школах отдельных стран» [там же].

Для российской науки, в частности, лингвистики, проблема такого диалога стоит особенно остро: слишком хорошо известно, как часто развиваемые в отечественной традиции идеи и направления, остаются явлением исключительно локальным - при наличии очевидных параллелей в западной науке. Та же когнитивная семантика, о которой речь шла в предыдущей главе, - остается явлением преимущественно «западным», и не потому, что вопросы, которыми она задается, чужды российской науке, а потому что та же проблематика «растет» из совершенно другой «почвы» (см. об этом Рахилина 2008) и, соответственно, «вырастает» в принципиально иной «организм».

Так, например, в докладе «История слов, эволюция понятий»¹⁹ О.Г. Ревзина особенно подчеркивала тот факт, что идеи Р. Козеллека, буквально захлестнувшие европейские гуманитарные науки (и, позже, американские) в послевоенный период, фактически были сформулированы на двадцать лет раньше в трудах В.В. Виноградова. Дело, конечно, не в вопросе первенства, а в том по своей сути трагическом положении, при котором в едином интеллектуальном (научном) процессе происходят разрывы, в которых (в лучшем случае – надолго, в худшем – навсегда) пропадают смыслы, потенциально содержащие в себе некое конкретное знание. В случае с виноградовскими постулатами можно видеть, что они продолжают «возрождаться» в развиваемых сегодня концепциях языковой темпоральности.

Изначально возникшее в рамках исторической науки и ради нее самой направление *Begriffsgeschichte* не могло не затронуть интересов лингвистики. Впечатляющим проектом представляется издание многотомного «Словаря социально-политических словоупотреблений», предпринятого исследовательской группой «XVIII век и французская революция»

¹⁹ Доклад был прочитан на «Ломоносовских чтениях» филологического факультета МГУ в апреле 2013 года.

(лексикометрическая лаборатория Сен-Клу), возглавляемой Ж. Гийому, Р. Моннье, М.-Ф. Пиге, А. Жоффруа. Это междисциплинарный проект, посвященный «лингвистической истории концептуальных употреблений». Специфическим именно в языковом отношении является интерес к тому, что в работах Ж. Гийому²⁰ называется «лингвистическим событием». «Наш подход, - пишет Гийому, с точки зрения событийности в языке зависит.. от *онтологии референтности* – в том смысле, в каком акты референции, создающие языковое событие, являются в той же мере актами идентификации и признания высказываний, которые сообщают им дискурсивное содержание» [там же: 102]. Лингвистическое событие «возникает в особых точках непрерывного потока» [там же: 103]. Гийому далее называет три компонента, значимые для «закрепления» лингвистического события в дискурсивном событии (а значит – с возникновением понятия, которое, в свою очередь, повлечет за собой «вычленение референта»):

1. когнитивные субъекты («располагающие собственно лингвистическими возможностями»)
2. лингвистические объекты (словари, грамматики)
3. «языковое сознание»

Названные параметры, фактически, повторяют виноградовские «тезисы» 1950-х гг. Так, «когнитивным субъектам» может быть поставлено в соответствие то, что Виноградов обозначает как «субъективные свидетельства современников о семантическом строе слова», «лингвистическим объектам» - то, что названо «архивным фондом языка», которое обеспечивает слову, вышедшем в данный промежуток времени из активного употребления, «непрерывность его историко-семантического развития». Наконец, третьему пункту может быть поставлен в соответствие тезис Виноградова о том, что «объективно-исторический анализ

²⁰ Guilhaumou J., Maldidier D., Robin R. Discours et Archive. Expérimentations en analyse de discours. Liège : Mardaga, 1994; Guilhaumou J. Discours et événement. L'histoire langagière des concepts. Besançon, 2006; Гийому Ж. Лингвистическая история концептуальных словоупотреблений, проверенная на опыте лингвистических событий // История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010.

семантического изменения слова – лишь производная, опосредствованная форма непосредственного анализа говорящих субъектов» [Виноградов 1977: 39].

Не стоит, однако, забывать, что история понятий, в своем исконном смысле, направлена на постижение событий исторических, а не лингвистических. В этом плане «Словарь социополитических словоупотреблений» идеологически ближе к классическому варианту *Begriffsgeschichte*, соглашаясь с этим направлением в том, что «анализ языковых условий появления тех или иных дискурсивных форм считается предпочтительным путем к постижению их исторического содержания» [Гийому 2010: 93]. Задача такого словаря состоит в том, чтобы проследить «вербализацию социального» («*la mise en mots de la vie sociale*» [Mots 1990: 120]). Авторы словаря следующим образом формулируют цели анализа (словарь посвящен периоду Великой французской революции):

- исследовать «степени рефлексии современников о лингвистических событиях, носителями которых они являются» [DUSP 1985: 6];

- «описать не столько понятия (*notions*) как таковые, но, в связи с ними, те конкретные употребления, «претворения в дискурс», которые происходили во французском языке в революционном водовороте» [там же];

- «опираясь на конкретные тексты воссоздать рождающееся в гуще революционных событий концептуальное содержание слов – часто повторяемых и воспроизводимых современниками, еще не осознающими их дискурсивную реальность» [там же].

Было издано восемь томов словаря, с 2006 года издание было приостановлено. «Словарь социополитических словоупотреблений» - фундаментальный труд по истории французского языка, представляющий колоссальное количество сведений и предлагающий читателю факсимильные копии фрагментов толковых словарей XVII-XIX вв. (в том числе малодоступных изданий). Статьи, посвященные истории отдельных слов-понятий, являются в большей степени описательными, предоставляющими фактуальную канву, но не

предлагающими теоретических моделей, *объясняющих* эту историю. В следующей главе, в связи с «Наказом» Екатерины II, мы обратимся к истории слова *société* (общество), изложенной в соответствии со статьей из настоящего словаря.

Первым практическим воплощением исследовательского проекта ESSE стал вышедший в 2010 году «Словарь “бродячих концептов” социальных наук»²¹. Сущность данного проекта один из его авторов О. Кристен представил следующим образом: «Вместо того чтобы – как это часто бывает – прибегнуть к “переводу” историографических понятий, сформировавшихся в определенном языковом контексте, через границу этого контекста в другой, отождествляя их тем самым с понятиями на первый взгляд синонимичными, но часто входящими в совершенно иные семантические поля...сохранить исконные понятия, интерпретируя в рамках сравнительного подхода заложенные в них культурные смыслы» [Christin 2010: 9]. Словарь содержит статьи, посвященные, таким словам, как *абсолютизм, администрация (управление), Старый режим, авангард, интеллигенция, современность* и др. Концепция словаря отталкивается от словаря Р. Козеллека, однако является во многом полемичной. Критике подвергается как раз то, что было изначальной целью словаря Козеллека – освещение именно немецкоязычного концептуального пространства. «В стороне осталась одна из наиболее острых на сегодняшний день проблема перенесения осуществленного <Козеллеком и соавторами> анализа на опыт других обществ и других языковых пространств» [там же: 13]. Собственно говоря, как раз возможность универсализации опыта словаря «Основных исторических понятий» отвергается авторами (здесь продолжается линия, намеченная «Словарем непереводимостей» Б. Кассен [Cassin 2004]). Другой особенностью этого проекта является критика словарей (историографических, биографических, культурологических и т.д.), которые пренебрегают проблемой «непереводимости», вследствие чего не выполняют «первичную и базовую

²¹ O.Christin et al. Dictionnaire des concepts nommades des sciences sociales. Paris, Editions Métailié, 2010

функцию словаря – предоставить, объективно и беспристрастно, определенный тип знания и образующие его понятийные и языковые механизмы» [Christin 2010: 11]. Для этой цели необходимо с вниманием относиться к «национализации концептов социальных наук...и обратиться к истории языка» [там же: 13]. Так, например, в статье, посвященной концепту *интеллигенция*, авторы намеренно избегают французской орфографии (*intelligentsia*), прибегая к транслитерации (*intelligencija*). Вполне предсказуемо, к сожалению, что опыт одноименной статьи В.В. Виноградова из «Истории слов» никак не учитывается (хотя цитируются статьи Ю.С. Степанова и М.Л. Гаспарова).

В отношении истории русский социально-политических понятий идея «непереводимости» концептов должна быть принята очень серьезно. Дело в том, что логика «передачи европейского термина русским словом» проявляется даже в тех работах, которые, казалось бы, как раз постулируют первостепенную значимость смыслов, идущих от русского языка, анализ зачастую ведется в терминах каузальности: концепт одного языка «создал» концепт другого. Показателен как раз случай слова *интеллигенция* – едва ли не уникальный случай, подтверждающий такую схему. Однако – и это показательно – рецепция русского концепта осуществляется через рецепцию самой лексемы. В первые десятилетия XVIII в. встречается слово *сосьете*, перенимающее фр. *société*, и, однако же, этот путь довольно быстро оказался тупиковым в том смысле, что «лингвистического события» не произошло, и фонетическая калька совершенно исчезла из русского языка уже к середине того же столетия.

§3. Формирование социально-политического словаря в освещении исторической науки.

Одной из первых работ, предлагающей анализ слов-понятий социально-политического лексикона как «факторов» исторического движения, является исследование историка Режин Робен, посвященное анализу «Книг жалоб» французских крестьян накануне и во время Великой французской революции [R. Robin 1970].

Р. Робен предваряет свое исследование следующим показательным замечанием: «Как известно, существенной трудностью гуманитарных наук является тот факт, что их предмет «определяет сам себя». Не только люди так или иначе говорят о себе, но создают классификации, непрестанно рассуждают об истории вне рамок непосредственного научного анализа» [там же: 17]. Очевидным образом из этого замечания следует «семантическое напряжение» (Копосов) между *se définissent en parlant* (определяют себя через говорение и *parlent en se définissant* (говорят, определяя себя). Огрубляя, можно сказать, что уловить соответствие между понятием-индикатором и понятием-фактором (Козеллек) в многомерном пространстве, в котором функционирует и развивается язык, - и есть реконструировать темпоральную структуру понятия в динамике становления. В работе Р. Робен рассматриваются семантические поля понятий *nation, royaume, état, peuple, citoyen* (нация, королевство, государство, народ, гражданин) на материале текстов непосредственно предшествующих революции лет.

О слове «нация» (*nation*) Робен пишет: «Брюно в своей “Истории французского языка” представляет слово *nation* как «излюбленное» слово поколения Революции. Он отмечает также, что понятие, еще неясное, стремится обособиться от “государства”, которое символизирует “король”» [там же: 319]. В терминах Козеллека можно сказать, что *nation* – понятие, связанное с «горизонтом ожидания» в большей степени, чем с «областью опыта». Дается следующее объяснение: «В короле обе силы [закон, граждане – Г.Д.] обращены к одному плану равенства... До этого момента отношение короля к своему народу мыслилось в рамках организующей идеи – “король главный, а народ трех сословий – подчиненные, и вместе образуют единое государственно-мистическое тело, коего единство нерасторжимо”... Этому биологическому видению ставится в соответствие представление физико-механистического характера – это отношения равновесия, устанавливаемого между королем и нацией. Эти два термина, образующие новую структуру, ни в коей мере не

эквиваленты структуре король-народ. «Нация», в сущности, далека от смысла «люди всех трех сословий» ... Между королем и нацией – твердое основание, конкретный текст и непреложные принципы – Конституция... «Нация», таким образом, сгущает в себе центральные смыслы, внедряя новый тип отношений между избираемыми представителям и королем – раз она наделяет «Национальную Ассамблею» основными признаками парламента» [Robin 1970: 320, 322].

Речь идет, в сущности, о переходе от одной системы социально-политических отношений к другой, в связи с чем такой переход осуществляется и на уровне понятий. *Nation* связано с той системой, которая только вырабатывается, связанной с модальностью долженствования. Неудивительно, что Робен констатирует употребления этого слова с предикатами будущего времени или ирреального наклонения («горизонт ожидания»). «Показательно, что «королевство» (*royaume*) исчезает из языка революционеров» [Robin 1970: 324].

Теперь, возвращаясь назад, к первой половине XVIIIв., обратим внимание на комплекс значений, фиксируемых для слова «нация» в словаре [Trévoux 1740]:
NATION, s.f. Nom collectif qui se dit d'un grand peuple habitant une certaine étendue de terre, renfermée en certaines limites, ou sous une même domination. Alexandre a conquis, a compté plusieurs nations, plusieurs peuples <...> Chaque nation a son caractère particulière. On dit, Lègèr comme un François ; fou & badin comme en Italien ; Grave comme en Espagnol; Ivrogne comme un Allemand.
Nation, se dit aussi d'une certaine distinction de gens, qui comprend tous ceux d'une même profession ; mais il ne se dit qu'en mauvaise part, genus <...> Je sçais que la nation des Poëts est une nation farouche, qui prend feu très aisement. La nation des Critiques est redoutable à tout Auteur qui brique l'approbation du public.

[НАЦИЯ, ед.ч., ж.р. Собирательное имя, употребляющееся для называния большого народа, населяющего досаточно обширную территорию, имеющую границы; либо народ под чьим-то правлением. Александр завоевал множество наций, множество народов <...> Каждой нации присущ отличительный характер. Говорят «Ветрен, как француз».

Или «безумный и неумный, как итальянец». «Непокладистый, как испанец», «пьяница как немец».

Нацией называется также некоторое количество людей одной профессии, но в качестве родового слова употребляется в отрицательном смысле <...> Я знаю, что нация Поэтов – нелюдимая, легко вдохновляющаяся. Нация критиков – опасная для всякого автора, который придется не по вкусу публике].

[Trévoux 1740: 1467].

Толкование *nation* (нация) проводится с опорой на (видимо, достаточно ясное) понятие *peuple* (народ). Специфика же понятия *nation* может быть выявлена по таким параметрам: 1. «народ под одной властью» (*peuple sous un même domination*) 2. «каждая нация обладает присущим ей характером» (*chaque nation a son caractère particulier*). Второй параметр выводит слово за пределы политической семантики, что проявляется и в толковании прилагательного *национальный* (*national*):

NATIONAL, qui concerne toute une nation <...> Il y a des vices nationaux, comme l'ivrognerie.

[НАЦИОНАЛЬНЫЙ, касающейся всей нации <...> Существуют национальные пороки, как, например, пьянство]

[Trévoux 1740: 1467].

В толковании прилагательного присутствует вполне ожидаемая формулировка: «То, что относится ко всему народу (всей нации)». Однако далее следует уточнение, показывающее, что слово осмысляется не в социально-политическом, а в повседневно-бытовом ключе: «например, национальные пороки вроде пьянства». Однако уже в следующем примере политическая семантика появляется, точнее, появляется идея политического интереса:

National, Partrial, prévenu par la propre nation <...> On trouve le mot national employé dans ce sens par le P. d'Orléans, dans la préface de son Histoire des Revolutions d'Anglatterre. Il proteste qu'on ne trouvera point national dans son hisoire; c'est-à-dire partial.

Национальный, патриотичный, для самой нации <...> Слово «национальный» находим в этом смысле у Ф. Орлеанского, во введении в его «Историю революций в Англии».

Он уверяет, что мы не найдем ничего «национального», то есть предвзятого, в его анализе.

[там же].

Однако такое употребление если не единичное, то явно не типическое, ибо требует уточнения контекста – поэтому в дефиниции делается указание на сочинение Принца Орлеанского об Английской революции (здесь важен революционный контекст для «активации» политической семантики этого слова).

Обращаясь ко второму параметру (к характеристике: «народ под одной властью»), заметим, что смысловой компонент «под одной властью» (*sous un même domination*) здесь играет роль «смысловой добавки» к слову «народ» (*peuple*), в котором, очевидно, идеи власти нет. Чтобы понять семантику слова «народ», обратимся к следующим двум цитатам:

1. «Они думали поставить меня перед лицом ужаснейшей дилеммы, сказав мне, что слово "народ" означает разное - если мы его понимаем в смысле лат. *populus* - то оно значит "нация", в то время как его окраска все же более выдержанная, чем предполагаемая, когда речь идет об "общности" Ассамблеи. А если же мы понимаем это слово в смысле лат. *plebs* - то уже в более узком смысле речь идет о разных сословиях - и, мол, вот к чему оно склоняется. Мы даже опасаемся, как бы это слово не значило, что и лат. *vulgus*.... На все это я могу ответить только следующее. Нам посчастливилось иметь это слово в нашем склонном к чистоте выражения языке. Слово, которое, когда речь идет об общественном благе нас определяет, не принижая, способно указать на нас без оценочности, которое бы не входило в противоречие [с нашими намерениями]. Слово, ко всему готовое, которое, в силу тех или иных обстоятельств, может и стать именем тех, во имя которых мы будем отстаивать народные права, свободу народа» (Мирабо). Цит. по [Robin 1970: 324-325].

2. «Слово "народ" имело четкий смысл, когда мы могли собрать всех горожан в каком-нибудь месте, например, на Марсовом поле. Но количественно приращение, переход от тысяч к миллионам, - сделало из этого слова какой-то

чудовищный термин, смысл которого зависит от фразы, в которой оно употребляется. То оно означает всю не поддающуюся определению совокупность - никогда нигде и не явленную целиком; то означает некое большинство в противоположность меньшинству - более состоятельному и более образованному» (П. Валери). Цит. по [TLF, URL].

Из обеих цитат можно сделать вывод о размытости семантики слова «народ», что как будто противоречит предположению о ясности этого понятия в связи с тем, что «нация» определяется через это слово. Однако противоречия нет, а как раз напротив, прослеживается очень глубокая логика. Выше уже шла речь о системе «Королевство-Государство» (Royaume-Etat) с одной стороны, и «Нация-Государство» (Nation-Etat) – с другой; напомним, что эти модели связываются с так называемой «биологической моделью» государства (corps politique) и механической (relation gouvenerale) соответственно. Первая характеризует этап до Революции, вторая – после нее. Судя по всему, первая модель (называемая у Р. Робен «нерасторжимым единением») предполагает такую слитность ее компонентов в одно целое (король-народ), что ни один не может быть определен вне отношения к другому. Поэтому затруднительно оказывается определить семантику слова «народ» изолированно от этой структуры – что и зафиксировано в приведенных цитатах. Идея власти действительно оказывается внешней по отношению к *народ* (peuple), входящего в структуру, не базирующуюся на привативной оппозиции с маркером 'имеющий власть'.

Вернемся снова к анализируемому определению «нации» как «народ под одной властью» (peuple sous un même domination). Р. Робен пишет, что «"народ" всегда сопровождается определяющим его словом, выражающим отношения обладания...это слово неравенства, тогда как "нация" коннотирует идею независимости граждан....Вероятно, именно это различие наилучшим образом показывает то, что разделяет пред- и пост- революционные периоды» [Robin 1970: 325]. Заметим, что *отношение владения* (relation de possession) не то же

самое, что *отношение подчинения своей власти* (relation de domination): в системе, где *народ* мыслится как часть того целого, которое он составляет с *королем*, нет смысла в том, чтобы быть подвергнутым «доминированию» *королем*. Ср. также замечание Р. Робен: «Ни одного употребления «король и его нация» - нация не принадлежит королю» [Robin 1970: 326]. Итак, получается, что а) идея власти как сознательно установленного «превосходства» связывается с понятием *нация* (nation) и относится к периоду после Революции; б) *нация* начинает «отмежевываться» от понятия *народ* (peuple) еще в предыдущий период по признаку наличия/отсутствия идеи власти; хотя это различие только «предугадывается» и примеры употребления единичны и требуют толкования.

Словарь [Trévoux 1740] подтверждает нашу гипотезу:

PEUPLE, s.m. Nom collectif. Assemblée de personnes qui habitent un pays, qui composent une nation. Ce Voyageur a vû toutes sortes de peuples civilisez & barbares. Ce seroit un bel ouvrage de faire la comparaison des moeurs de tous les peuples connus.

Peuple, si dit particulièrement des habitans d'une ville, Cives. Les villes où il y a le plus de peuple sont Pekin, Paris <...> Le Roi se fait aimer de son peuple ; il a le coeur de son peuple.

Peuple, se dit encore plus particulièrement par opposition à ceux qui sont nobles, riches ou éclairés.

Peuple, se dit aussi d'une multitude de gens <...> Le peuple poétique, c'est la multitude des Poètes vulgaires <...> se dit aussi des Poètes en général.

Peuple, se dit aussi du petit poisson, de l'alevin ou nourain pour faire valoir un étang.

[НАРОД, ед.ч., м.р. Собирательное имя. Совокупность людей, населяющих страну и составляющие нацию. «Этот путешественник повидал разные народы – цивилизованные и варварские». «Было бы замечательным предприятием составить сравнительное описание всех известных народов».

Народом называются в особенности жители городов, граждане. Города, где более всего народу – Пекин, Париж. Король должен быть любим народом; он есть сердце своего народа.

Народом называется также некое множество людей <...> Поэтический народ – это множество народных поэтов. Говорится также и о поэтах вообще.

Народом называются также рыбы, если нужно подчеркнуть ценность какого-то пруда].

Слова «народ» (*peuple*) и «нация» (*nation*) толкуются через отсылку друг к другу. Однако и в этом толковании находим ту же идею, что «народ образует нацию» (*peuple compose une nation*), т.е. что «нация» - это «народ» и некий добавочный смысловой компонент. Есть значение, в котором слово «народ» – синоним слова «нация» (в знач. *Peuple des Poètes*); значение, где присутствует социальный компонент «народ VS дворяне» (*peuple VS nobles*). И, наконец, показательны употребления в значении «горожане», где нет ни политического, ни социального элемента, а есть значение совокупности, группы людей по месту проживания. Еще более ярко этот компонент выступает в переносном значении: «говорится также о маленьких рыбках в конкретном водоеме» (*se dit aussi du petit poisson dans l'étang*).

Подытоживая сказанное о *nation* и *peuple*, обратимся к пронизательному замечанию Р. Робен: «Таким образом, *нация* и термины, систематически вступающие с этим словом в ассоциативные отношения, противопоставляются совокупности понятий и ценностей, характеризующих общество Старого режима <...> И если акцент ставится на слове «нация», то подчеркивается именно его политическое значение и никогда – социальное. Слово «народ», напротив, «на все готово» и этой полисемичностью соединяет «собственно-буржуазный» и «народный» компоненты революции» [Robin 1970: 329].

Согласимся с Робен и в том, что история понятийных социально-политических систем и моделей, стоящих за словами *état, royaume, roi, peuple, nation* (*государство, королевство, король, народ, нация*) может говорить нам о том, что «социальные конфликты внутри третьего сословия разворачиваются сначала на лексическом уровне. И не проявляется ли классовая борьба именно на этом уровне - прежде всякого экономического и социального анализа и не представляет ли она собой, в сущности, борьбу лингвистическую?» [там же].

§4. Метод *Begriffsgeschichte* в лингвистическом освещении.

Р. Козеллек был историком, и его интересовали вопросы социальной истории, но теоретическая мощь его концепции выводит мысль за пределы описания исторической реальности, ставя вопрос о том, что же является «фактором» этой реальности. В этом свете роль слова как когнитивной единицы, задающей мышление о реальности и, тем самым, создающей ее, как было показано в §1 настоящей главы, подлежит «ведению» науки о языке. Рецепция идей Козеллека применительно к исследованию истории русского языка в настоящее время осуществляется, в основном, в рамках исторического подхода (Германский исторический институт в Москве²²), где языковой анализ является одной из составляющих понимаемого в более широком смысле культурологической истории понятий (направление, начатое В.М. Живовым в ИРЯ им. В.В. Виноградова²³). Несмотря на то, что интерес к языковой составляющей исторического дискурса – значимый и постоянный компонент исследований по русской истории понятий, для историков «*Begriffsgeschichte*...выступает не как главная цель исследования, а как инструмент изучения источника, облегчающий путь от понимания текста к пониманию внетекстовой действительности» [Марасинова 2008: 104].

О. Г. Ревзина, рассматривая три подхода к анализу концептов, представленные в трудах Ю. С. Степанова, В. В. Виноградова и Р. Козеллека, делает акцент на потенциально заложенной продуктивности *Begriffsgeschichte* именно для лингвистики. «Как бы ни понимался “лингвистический поворот” в разных европейских школах, в центре внимания всегда оказывалась история, а вовсе не язык ... Но мы можем повернуть вопрос и вместо лингвистики на службе истории сказать об истории на службе лингвистики. Напомню, что среди важнейших вопросов, поставленных Р. Козеллеком перед исторической наукой, был вопрос о собственно историческом времени. Изучение эволюции исторических концептов было важно для Р. Козеллека не само по себе (в конце

²² См. [Сдвижков Д., Ширле И. (ред.) 2012].

²³ См. [Живов 2009], [Живов 2012].

концов тот факт, что понятие государства не совпадает в разные исторические эпохи и в разных странах, достаточно самоочевидно), а именно с точки зрения истории и ее времени. Здесь ключевым является вывод Р. Козеллека о том, что основные историко-социальные понятия — это не только «индикаторы», но и факторы исторических изменений. Эти два положения Р. Козеллека могут, быть распространены на изучение языка. Его история, в том числе историческая лексикология, всегда ориентированы на хронологическое время ... Вопрос о «специфическом языковом» времени, если перефразировать Р. Козеллека, даже о наличии такового фактически не ставится» [Ревзина 2013: 190-191].

Однако в том, чтобы изучать социально-политические концепты, не уходя в проблематику исторической науки, состоит одновременно и большая трудность, и большой соблазн. Трудность заключается в теснейшей «референциальной спайке» слов социально-политического лексикона с внеязыковой реальностью, что создает мнимую очевидность языкового содержания этих терминов. Соблазн же состоит в том, чтобы довериться результатам анализа этих понятий в работах историков, забывая, что у лингвиста и историка различны не только объект и цели исследования, но и понимание понятий, в которых осуществляется анализ. Так, говоря о «контексте» появления того или иного слова-понятия, историк имеет в виду контекст событийный²⁴, лингвист — контекст собственно-языковой (сочетаемость, синтагматика). Такие примеры расхождений можно множить.

Эти различия, в сущности, делают невозможным «кумулятивное взаимодействие» исторического и лингвистического анализа: прирост знания в каждой из областей имеет, очевидно, исключительную важность для истории понятий, однако не нанизывается на одну и ту же ось («история понятий...не имеет отношение к истории слов, даже как часть социальной истории» [Koselleck 2004: 76]). Разницу этих двух логик в отношении *Begriffsgeschichte* сформулировал Б. П. Маслов: «Для филолога слово выступает как носитель

²⁴ См. [Тимофеев 2011].

значения (а не как одно из возможных выражений внеязыкового понятия) и, в частности, как гарант преемственности значения в истории. Соответственно существенный вес получает научная этимология...и его словообразовательная и морфологическая структуры, которые действуют на семантику напрямую — помимо логики понятийных полей» [Маслов 2012: 345].

Для лингвиста понятие контекста неразрывно связано с пониманием того, что смысловая структура слова есть актуализация суммы смысловых потенциалов языковых единиц в композиции текста²⁵. Из этого следует, прежде всего, эпистемологическая самодостаточность отдельного контекста (в широком смысле) для реконструкции смысловой структуры слова. Поэтому, несмотря на то, что «писать историю отдельных, изолированных понятий невозможно» [Козеллек 2010: 28], отдельное слово рассматривается как «объективный факт» (В.В. Виноградов) семантической истории.

Другое (и более существенное) расхождение исторического и лингвистического подхода к анализу одного и того же материала проявляется в типологии вычленяемых понятий. Формально исследуются одни и те же слова (например, *император, империя, государь, монарх, самодержец, отечество, народ, общество, гражданин, благородное сословие, подданный* и пр.), однако «фокус» настраивается совершенно различным образом. Так, перечисленные слова с точки зрения исторической науки могут образовывать следующие терминологические группы: 1. Самоидентификация власти 2. Понятия, выражающие представления власти о личности и иерархии в обществе. 3. Терминология, определяющая взаимоотношения личности дворянина и власти [Марасинова 2008: 106].

С точки зрения лингвистики эти слова — конститутивные элементы определённого типа дискурса, пронизывающие одновременно три его составляющие — когнитивную, коммуникативную, языковую (О.Г. Ревзина)²⁶. Так, когнитивная составляющая ставит вопрос о том «мыслительном запросе»,

²⁵ См. [Гальперин 2014].

²⁶ См. [Ревзина 2009: 530–563].

который обеспечивает функционирование этих слов в дискурсе; коммуникативная составляющая подразумевает определение отправителя и получателя сообщения (и перечисленные слова распределяются по полюсам адресант-адресат). Для понимания языковой составляющей важным, например, будет являться десемантизация словообразовательной связи *государь-государство* или ироническое переосмысление внутренней формы слова *самодержец* («самого держат в кабале»), присущие публицистике Д. И. Фонвизина.

Итак, социально-политическая и общественная терминология стала изначальным предметом изучения *Begriffsgeschichte*. Для этого направления принципиально различие между понятием и словом (меняются не слова, а понятия). Именно понятия участвуют в ментальной репрезентации «истории» и, тем самым, являются факторами ее создания. Одному понятию, по Козеллеку, может соответствовать несколько слов. История понятий может быть истолкована как история конфигураций слов, образующих смысловое поле данного понятия. С этой точки зрения слова (лексемы) предстают как маркеры, служащие для «распознавания» фактов внеязыковой реальности.

С точки зрения лингвистики слова, входящие в смысловое поле понятия (концепта), предстают как маркеры собственно-языковой реальности. Язык отражает и задает способы мышления, является доступом к реальности помысленного. В статье «Что значит мыслить?» М. Хайдеггер определяет мышление как некую область, в которую «мы попадаем, когда мыслим». Хайдеггер подчеркивает, что человек не создает эту область, а именно в ней оказывается («Требующее осмысления ни в коем случае не создается нами... [оно] дает нам мыслить» [Хайдеггер 1991: 30]).

В лингвистике надолго закрепилось представление о «произвольном характере языкового знака». Это представление толкует отношение между «понятием» и «словом» как произвольное соединение означаемого и означающего, а «помысленное» оставляет за рамками рассмотрения. Вопрос о

произвольности языкового знака был снят «с повестки дня» Э. Бенвенистом, сформулировавшим новый вопрос: «Подлинно глубокая проблема... заключается в том, чтобы найти внутреннюю структуру явления, когда воспринимается лишь его внешняя сторона, и описать его зависимость от всей совокупности его проявления» [Бенвенист 1974: 92]. Таким образом, *помысленное, понятие* и *слово* предстают как последовательные стадии одного явления, о котором мы судим по его проявлению в слове (в факте наличия слова). Бенвенист далее делает следующий комментарий: «В самом деле, эта проблема есть не что иное, как переведенная на язык лингвистики философская проблема соответствия разума действительности. Лингвист, возможно, в один прекрасный день сможет с пользой ею заняться, но пока лучшее ее оставить. Полагать отношение произвольным – это для лингвиста способ уйти от данного вопроса, а также и от того решения, к которому инстинктивно приходит сам говорящий. Для говорящего язык и реальный мир полностью адекватным: знак целиком покрывает реальность и господствует над нею; более того, он и есть эта реальность» [там же: 93]. В какой-то степени здесь развивается тезис Хайдеггера: мыслить – это условие перемещения в реальность мышления. Средством же этого «перемещения» является языковой знак, в котором видим не произвольную, но единственно возможную связь понятия и слова.

То будущее, для которого Бенвенист не отрицает возможность позитивного результата обращения лингвиста к этому «метафизическому вопросу», уже давно настало (антропологический подход к языку, когнитивная лингвистика, дискурсивный анализ). И как раз в этом «будущем» лингвистикой был подхвачен интерес к истории понятий – как к методу, направленному на вскрытие внутренних механизмов отношений между «словом и делом», иначе говоря, между ментальным конструированием и так называемой объективной реальностью.

Едва ли не каждый обзор исследований по истории понятий заново формулирует одни и те же проблемные вопросы и предлагает компромиссные

решения. Эти вопросы сводятся к трем проблемам, которые Козеллек предвидел и о которых высказывался в работах разного времени. Первый вопрос касается определения понятия (противопоставленного слову) и критериев выделения «базовых исторических понятий» (см. об этой критике [Миллер, Сдвижков... 2012]). Вторая проблема заключается в том, что «писать историю отдельных, изолированных понятий невозможно» [Козеллек 2010: 22]. Из нее вытекает трудный вопрос об отборе источников. Третья проблема состоит в том, что «методологические трудности... остаются во власти общей для всех историков апории, заключающейся в том, что они должны сначала создать с помощью языка предмет их изучения» [Козеллек 2006].

Позиция лингвиста в исследовании концептов может быть сформулирована как направленность внимания на «идеи, исходящие от самого языка» [Шведова 2011: V]. В «Идеографическом словаре...» названы следующие характеристики концепта: 1. означенность словом, 2. сочлененность всех значений слова с единым понятием, 3. неразрывная связь со смысловым строем языка, 4. концепт входит «в одну из сфер, в целом конструирующих лексическую систему языка и разделяющихся по признаку ступеней человеческого познания» [там же], 5. концепт «уходит своими корнями в глубокие исторические пласты жизни народа» [там же], 6. поле концепта составляют «ключевой» концепт и окружающие его «малые концепты», на периферии находится «тематически связанная лексика» [там же].

Исходя из такого представления о концепте и о Begriffsgeschichte как о средстве изучения собственно-языковой реальности (реальности мышления), исходные установки анализа таковы:

- этимологический анализ и анализ внутренней формы слова позволяют проникнуть в область семантического потенциала основы (корня);
- последовательный историко-лексикологический анализ позволяет очертить область востребованных смыслов (из потенциально возможных);

- сопоставление этих областей в разные хронологические периоды (не обязательно последовательные) позволяет выявить «вектор» семантического движения и определить, на каком этапе в смысловой структуре слова появляется «горизонт ожидания»;

- принципиальным отличием лингвистического исследования от метода *Begriffsgeschichte* в исторической науке является направление анализа: не понятие «диктует» набор рассматриваемых слов, а слово «ведет» к понятию, о котором заранее ничего не известно;

- семантический потенциал корня может реализовываться в словах-терминах разных областей, входящих в разные понятийные поля (эти слова-термины могут относиться как к одному хронологическому периоду, так и к разным); но это распределение не является случайным, так как ни одна «реализация», получившая закрепление в термине, не проходит бесследно для темпоральной структуры слова-концепта.

История понятий, как она представлена в вышеизложенных принципах анализа, является историей «внутренней событийности» в языке, историей языка как означаемого.

Целесообразность создания русского словаря по методу *Begriffsgeschichte* ставится исследователями под сомнение в связи с рядом теоретических вопросов. Отмечается, что для русской истории вопрос о *Sattelzeit* не может быть решен однозначно, как это решается у Козеллека и его коллег в отношении европейской истории (некоторыми исследователями ставится под вопрос и необходимость этого термина для русской истории). «Русскую динамику необходимо соотнести с дискуссией о том, что считать критерием «ключевых понятий» - массовость употребления или представительность единичных отрефлектированных языковых актов. Стандартные дефициты, которые выявляют западные модели в России, - «узость слоя», неразвитость «публичной сферы» предполагают, что отрефлектированные тексты остаются или малопубличными, или вообще непубличными в момент своего появления»

[Миллер, Сдвижков...2012: 45]. Не менее существенными являются и проблемы «количественного объема русского корпуса текстов, разная степень их сохранности», «отсутствия множества практик, требующих вербализации» [там же].

В свете означенных проблем методологически менее уязвимым может быть проект «Словаря исторической семантики социально-политических понятий русского языка». Существенным преимуществом словаря *Begriffsgeschichte* с позиций лингвистики (а не исторической науки) является ориентация на собственно-языковую реальность, а не на реконструкцию реальности внеязыковой (и относящейся к прошлому). Эта установка имеет несколько практических следствий.

А) Максимально широкий объем текстов не является прямым условием точности. При ориентации на «смыслы, идущие от самого языка» в силу вступают текстовые связи (текстово-смысловая матрица, узловые элементы – слова – которой «работают» друг на друга). Соответственно, условие точности – это по возможности всеобъемлющий лингвистический анализ текста (или его композиционно-целостного фрагмента) и исследование конструкции (ср. метод «лингвистики конструкций» - см. Рахилина 2010), заключающийся во вскрытии корреляций между языковой, коммуникативной и когнитивной составляющими.

Б) Вторым практическим следствием является отсутствие критерия «объективной истины», потому что языковая концептуализация не может быть «ложной» или «ошибочной» (в отличие от исторического прогноза). Задача такого словаря – не создание упорядоченной базы данных по истории социально-политических понятий, а создание теории, цель которой, перенимая формулировку Л. Ельмслева, «указать на процедуру, дающую познание или понимание...всех мыслимых объектов той же самой природы» [Ельмслев 2006: 41].

Отправной точкой является проблема отбора источников. «Нет ни малейшего сомнения, - писал Р. Козеллек, - что значение источника зависит от

постановки вопроса и метода исследования. При том что именно взгляд исследователя конструирует значение источника, тем не менее источник имеет и свою постоянную темпоральную структуру» [Козеллек 2010: 31]. Козеллек предлагает классификацию источников, исходя из параметра идентичности-повторяемости во времени. Названы три типа источников:

а) источники, характеризующиеся «темпоральной неповторимостью». К ним относятся: газеты, письма, меморандумы, доклады. Такие источники «изначально рассчитаны на некий короткий промежуток времени» [там же], и «претендуют только на один уровень темпоральности: современность и прагматизм» [там же: 32].

б) источники, содержащие «темпоральной многослойностью». К ним относятся, например, словари и энциклопедии. «Каждый новый словарь копирует предыдущие издания и вносит, возможно, небольшие, но важные изменения. Исследователь при это может наблюдать, как происходит «нагружение» понятия новыми слоями значений» [там же].

в) источники, претендующие на «вневременное значение». К ним относятся «классические тексты» (произведения художественной литературы, канонические религиозные тексты). «Сохраняется их аутентичность, а смысл не обновляется» [там же].

Фактически эта классификация не получила устойчивого применения в работах по истории понятий, зато «обросла» целым дискурсом о том, почему она не является вполне приемлемой: «Недостаточная реализация заявленной социально-исторической составляющей проявилась в...сосредоточении внимания на высокой литературе. Были использованы тексты крупных мыслителей, а обиходные источники, отражающие повседневное словоупотребление, остались без внимания» [Миллер, Сдвижков...2012: 13]. Критике подверглось также то обстоятельство, что «проект оставлял без внимания прагматический аспект языковой деятельности, а также недостаточно учитывал понятийные сети и дискурсы» [там же].

В одной из последних крупных работ по русской истории понятий – монографии Д.В. Тимофеева, посвященной рецепции западных семантических моделей в русском социально-политическом лексиконе начала XIX в., – сформулирована методология отбора источников и принципов их анализа уже с учетом критики классического варианта *Begriffsgeschichte*. Названы следующие принципы: а) принцип контекстуализации (социальный, экономический, политический контексты), б) принцип жанрового многообразия используемых текстов, в) принцип системности (ассоциативные взаимосвязи между ключевыми понятиями), г) принцип «временных горизонтов» (соединение в понятии социального опыта и представления о перспективах развития общества). Все эти критерии могут быть перенесены и на лингвистический анализ истории понятий, однако требуется конкретизировать их смысл в соответствии с поставленной задачей именно языкового (а не исторического) анализа.

Принцип контекстуализации. Под контекстом понимается в узком смысле сочетаемость (конструкция), в широком смысле – парадигматические связи элементов внутри текстового целого. Принципиальным является понимание того, что «сочетаемостные характеристики имен дают возможность восстановить...когнитивные аспекты...семантики» [Рахилина 2008: 10]. Следующее рассуждение Е.В. Рахилиной дает адекватное представление о логике, с которой относится к «контексту» лингвист: «Если по-русски не говорят **прошел сквозь улицу* (ср. возможное *прошел сквозь тоннель*) или **длинный лоб* (при том, что можно *длинные уши* или *длинный нос*), это свидетельствует о том, что несовместимы не только слова, но и соответствующие им понятия, т. е. что в представлении этих объектов и параметров есть характеристики, исключаящие друг друга. Но тогда подробное лингвистическое исследование сочетаемости может воссоздать тот образ действительности, который человек имеет в виду, когда говорит и понимает» [там же: 14].

Принцип жанрового многообразия. Рассматриваются различные возможные конфигурации коммуникативной, когнитивной и собственно-языковой составляющих (о которых говорилось выше).

Принцип системности. Совпадает с рассмотренной в §3 Гл.1 антиномией В.В. Виноградова: «Слова двигаются и изменяются вместе с языком. Изменения в общей системе отражаются на употреблении и значении отдельных слов» [Виноградов 1999: 8].

Принцип «временных горизонтов». Здесь находит воплощение идея В.В. Виноградова (высказанная в связи с проектом «Исторического словаря русского языка» и рассмотренная в §4 Гл.1) об историческом процессе в слове как о раскрытии его семантического потенциала.

В основе критерия отбора источников лежит дихотомия «текст высокой степени распространенности/текст низкой степени распространенности». С одной стороны, широкая распространённость текста сигнализирует о его симптоматическом характере для реконструкции языкового сознания эпохи. С другой стороны, нераспространённые тексты, изначально характеризующиеся «темпоральной неповторимостью» (никогда не обнародованные конституционные проекты, не получившие широкой огласки статьи политических мыслителей и т.п.) задают «горизонт ожидания», в соответствии с которым возможно дальнейшее раскрытие семантического потенциала слова.

Привлеченные к анализу в данной работе источники представлены следующими типами: а) переведенные на русский язык тексты зарубежных авторов (наиболее подробно рассмотрен французский «претекст» «Наказа» Екатерины II), б) «документы, созданные в процессе функционирования различных властных структур, с помощью которых государство осуществляло регулирование общественных отношений и выражало свою позицию по наиболее важным социально-экономическим и политическим вопросам» [Тимофеев 2011: 47] (законодательные акты, проекты преобразований записки и «мнения», конституционные проекты); в) Толковые словари и словники XVIII-

XIX вв.; г) Материалы периодической печати, публицистические произведения; д) субъективные источники (дневниковые записи, письма, воспоминания); е) литературные произведения (прозаические, поэтические тексты).

В виду сформулированных выше методологических установок, в анализе не используются статистические методы, а данные корпуса (НКРЯ) привлекаются в качестве «фоновой» информации, тогда как в центре внимания – отдельные тексты или небольшие (составленные и обработанные вручную) корпуса.

§5. Выводы по I части.

Проведенный анализ основных подходов к изучению семантического динамизма в лингвистике и современной исторической науке позволяет сформулировать ряд постулатов, представляющих идейную и методологическую значимость для настоящего исследования:

- Сущность семантического динамизма не может быть вскрыта при помощи «факторного анализа» результатов изменений (выделение экстралингвистических воздействий и внутрисистемной логики), но требует обнаружения когнитивных моделей, по которым происходят те или иные изменения, и выявления масштаба когнитивного потенциала лексической единицы. Этот потенциал определяет языковую темпоральность лексемы – заложенные в ней перспективы движения во времени.
- Исследования семасиологических изменений, предпринятые лингвистами предыдущих эпох, не только не могут быть сведены к «архивной» функции, но должны быть вовлечены в размышление о теоретических и методологических основаниях разработки лингвокогнитивного подхода к семантическим изменениям.
- Чрезвычайно важным является разграничение, предложенное Г. Паулем: *исследование* историзма не тождественно процедуре *сравнения* одного явления в два разных момента во времени. Процедура сравнения ведет к

установлению линейных каузальных связей, что едва ли не исключает возможность проникновения в суть отдельно взятого языкового факта. Отдельный языковой факт – это индивидуальность, фактически, чистая случайность, в которой, однако, заложена потенциальная сила «дальнодействия», значимость которой не стоит преуменьшать.

- Настаивая на том, что подлинным объектом исторического изучения являются «психические организмы», Пауль подчеркивал, что изучение исторической семантики не может быть сведено к составлению «списков» значений, а является, фактически, историей мышления на данном языке. Когнитивные механизмы (ассоциация, метонимия, метафора, специализация значения) – подлинные носители «жизни слова», тогда как их материальная оболочка – акустико-физиологическое явление, живущее не дольше соответствующей мышечной артикуляции. В этом смысле словарная фиксация слова – ресурс менее богатый, чем выявление названных когнитивных механизмов в каждом контексте употребления слова.
- Пауль отмечает, что при изменениях значения слова «отмирание старого» не только не обязательно (в отличие от звуковых изменений), но чаще всего не происходит окончательно никогда. В этом заключается фундаментальное свойство семантического уровня языка: это трехмерное пространство, «события» которого никогда не разворачиваются лишь в одной плоскости. С этой особенностью Пауль связывает явление полисемии, в которой заключена суть семантического динамизма, а не «временный дефект» системы.
- М.М. Покровский выделяет принцип «взаимной ассоциации слов»: соединение в языковом сознании двух и более слов в одну группу обуславливает возникновение у них общих семантических, грамматических и синтаксических характеристик (этот принцип находит применения в

анализе коннотативных механизмов изменения значения слова *гражданин* – см. Гл.4).

- Мысль М.М. Покровского о том, что слова группируются как по сходству, так и по прямой противоположности значений, приводит к обнаружению механизмов, лежащих в основе семантической истории слова *общество* в отношении слова *государство*: от отношений непересечения – к отношению тождества и антонимии (см. Гл. 5, §6). Именно объединение в «антагонистическую» смысловую группу «государство-общество» выявило социально-политическую семантику слова *общество*.
- А.А. Потехня вскрывает суть отношения означающее-означаемое как *непроизвольного и нестатического* единства. Непроизвольность этого отношения определяется «представлением», лежащим в основе данного слова, заключающего в себе первоначальный образ ситуации, к которой отсылает слово. Нестатичность обуславливается действием важнейшего языкового механизма – коннотации.
- В.В. Виноградов, признавая необходимость изучать слова не в изоляции друг от друга и не в отрыве от истории культуры и менталитета народа, настаивает, однако, на *автономности* и *самоценности* отдельного слова как самостоятельного языкового факта, в котором раскрывается семантическая история языка. Исследование слова как «объективного факта языка» составляет основу «проекционного метода» исторической лексикологии.
- Залог семантического динамизма В.В. Виноградов усматривает в заложенном *семантическом потенциале* отдельного слова, обуславливающего его непрерывность во времени. Понять эту непрерывность слова во времени возможно лишь соединяя ономаσιологический и семасиологический подходы.
- В.В. Виноградов определяет *исторический словарь* как совокупность «семантических историй» отдельных слов, являющих собой когнитивные модели языковых изменений. Проблема разработки теоретических основ и

накопление материала для такого словаря представляется Виноградовым как центральная проблема лингвистической науки.

- В направлении исследований *Begriffsgeschichte* было сформулировано представление о «темпоральной структуре понятия»: исторические понятия обладают «различными временными наслоениями» (Р. Козеллек), что создает в их семантической структуре определенное напряжение между «областью опыта» и «горизонтом ожидания». «Устремленность» исторического понятия к «горизонту ожидания» обуславливает то, что оно является не только индикатором исторического события, но и его фактором.
- Темпоральные структуры определяют собственно-историческое время, отличное от времени календарного, хронологического.
- Для представителей этого направления *Begriffsgeschichte* носителями темпоральности являются понятия, а не слова. Таким образом, здесь представлен ономаσιологический подход, «область опыта» и «горизонт ожидания» определяются теми внеязыковыми явлениями, которые являются «предметом мысли» носителей языка того или иного периода.
- Представление о темпоральной структуре целесообразно распространить именно на слово как единицу языка: последовательная реализация семантических возможностей слова организует собственно-языковое время и лингвистическую событийность.
- Концепция Р. Козеллека получила развитие в проектах по составлению словарей базовых исторических, политических культурологических понятий. При этом рецепция в каждом отдельном случае происходит с модификацией изначальных установок исследователей билефельдской школы. Так, французский «Словарь социополитических словоупотреблений» (ред. Ж. Гийому), во-первых, посвящен лишь одному периоду в развитии французского языка (совпадающего с выделенным Козеллеком «Переломным временем» - *Sattlezeit*) – периоду Французской революции. Во-вторых, в отличие от «Словаря основных исторических

понятий» (Брюнер О., Козеллек Р, Конце В.), он ориентирован не на «авторитетные тексты», а на «словоупотребления» (наряду с литературными и философскими текстами включает в себя обширный материал повседневно-бытового дискурса). «Словарь “бродячих концептов” социальных наук» (ред. О. Кристен) ставит целью выйти за рамки одной национальной традиции и продемонстрировать «непереводимость» таких «квази-универсалий», как слова *монархия*, *демократия* и др.

- Названные словари предоставляют обширный материал по исторической семантике немецкого и французского политических языков, однако их авторы, будучи изначально ориентированы на задачи исторической науки, используют лингвистический материал лишь как «орудие», облегчающее доступ к внеязыковой реальности. Поэтому проблема разработки теоретико-методологической базы собственно-лингвистического «Исторического словаря» остается актуальной.
- В отношении «Исторического словаря русского языка» стоит проблема интеграции сформулированных акад. В.В. Виноградовым принципов построения такого словаря с имеющимся на сегодняшний день опытом исторических словарей немецкого и французского языков. Актуальной остается задача накопления материала для такого словаря. (На сегодняшний момент изданы два сборника по исторической семантике под ред. В.М. Живова, а также два тома «Понятий о России», подготовленных Германским институтом в Москве).
- Существенно то, что «интеграция» подходов *Begriffsgeschichte* и традиционной «истории слов» не может заключаться в суммировании их методологий, а требует их взаимной «переплавки», устраняющей их, строго говоря, несовместимые противоречия.
- Эти противоречия, как было показано, состоят, например, в совершенно различном понимании контекста появления того или иного понятия (для

исторической науки это контекст событийный, контекст экономический, политический и т.д., для лингвистики – контекст – это, в узком смысле, синтагма, конструкция, в широком – композиционно-текстовая целостность). Историческая наука интересуется несловесным «понятием», в поле которого в разные периоды входят те или иные слова, лингвистика сталкивается с проблемой «непрерывности слова во времени», его «тождества» (В.В. Виноградов).

- Объединение ономаσιологического и семасиологического подходов – это не соединение в одном исследовании описания хронологических этапов значений одного слова и внеязыковых реалий, соответствующих этому значению в каждый отдельный момент истории. Пафос описания темпоральной структуры понятия в работах Р. Козеллека направлен на моделирование «динамической картины исторического становления современного разума» [Копосов 2005: 58]. В этом свете перед исторической семантикой ставится проблема эволюции мышления и реорганизации картины мира, раскрывающаяся через «семантические истории» отдельных слов.
- В отличие от «списочного подхода» к полисемии (Г.И. Кустова) в структуралистской парадигме и «статического характера концепций когнитивных наук» (Н.Е. Копосов), интеграция семасиологического и ономаσιологического подходов направлена на исследование *темпоральной семантики* слова, включающей в себя процесс реализации семантико-синтаксических возможностей слова. Можно выделить четыре составляющие: а) этимология и генетико-стилистический пласт; б) синтаксические связи; в) семантические связи; г) коннотативные связи (со словами концептуальных систем других языков).

ЧАСТЬ II

Русский социально-политический язык второй половины XVIII-начала XIX в.

Глава 3

Лингвистические события переломной эпохи

§1. Специфика русского социально-политического языка.

В научной литературе сложился определенный «топос», выражающий неоспоримую и постоянно воспроизводимую (с новыми доказательствами) мысль: социально-политическая терминология была заимствована под влиянием западных современных практик государственного регулирования (ключевая роль – французское Просвещение); при этом «адаптации» стоящих за терминами идей «так и не произошло». Это, безусловно, несколько карикатурное представление этой устойчивой и в целом весьма верной позиции. Однако ее существенный недостаток состоит в заведомой прогнозируемости исследования, цель которого – *de facto* – описание «абсурдного русского случая – когда монархи использовали свою безграничную власть, чтобы навязать понятие *res publica* сопротивляющемуся населению» [Хархордин 2002: 192].

Безусловно, собственно социально-политический дискурс формируется лишь с возникновением «запроса» на регулирование государственного устройства, который, в сущности, совпадает с формированием выступающей за ограничение власти оппозиции (такой момент истории усматривают в событиях января 1730 г.²⁷). Однако «российский конституционализм был не столько реальной политической силой, способной трансформировать политическую систему абсолютистского государства, сколько интеллектуальным идеологическим течением» [Конст. проекты в России: 5].

Чтобы выйти за пределы этого замкнутого круга, необходимо «скорректировать» два вышеозначенных положения: 1) заимствованные термины юридических и законодательных практик – не единственный и не

²⁷ См. [Курукин 2010], [Протасов 1970].

первичный источник русского социально-политического языка (этот источник – взаимодействие заимствованных и исконных терминов); 2) низкая степень ассимиляции самих практик – не есть «особенность» русского политико-правового сознания, а, скорее, представляет собой следствие какой-то иной кардинальной (сrucial) особенности.

В «формировании русского юридического сознания, - пишет В.М. Живов, - определяющее значение имеют характеристики плана выражения» [Живов 2002: 189]. Это понимание представляется ключевым для преодоления вышеназванной апории (поэтому далее позволим себе обширное цитирование этой работы В.М. Живова). Речь идет о «юридическом дуализме», выразившемся в параллельном существовании двух правовых традиций — византийская юридическая норма и русское право — обслуживаемых церковнославянским и русским языками соответственно. «Четкая грань между русским и церковнославянским правом обусловлена тем фактом, что церковнославянское право...было недействующим» [там же: 217], оно имело культурный статус и служило «важным идеологическим источником» [там же: 228], тогда как русское право обслуживало «сферу быта» и было реально функционирующим. В древней Руси складывается уникальная юридическая ситуация, при которой «право, лежащее в сфере культуры, не действует, а действующее право лежит вне культуры» [там же: 235].

Эта ситуация, как отмечает В.М. Живов, обусловлена «несовпадением объема права и юридической деятельности в русском и византийском праве» [209] (так, например, политические преступления не охватывались сферой русского автохтонного права). «На пространстве Западной империи варварские пришельцы...стали сонаследниками римской цивилизации...Средневековая Русь никогда сонаследницей имперской цивилизации не стала» [там же: 296]. Поэтому «в то время как западная средневековая культура непредставима без многообразных юридических институций», в России эти институции «не появляются и в раннее Новое время, так что русский абсолютизм, ориентируясь

на западные модели, лишен того легалистского основания, без которого немислим абсолютизм западный» [там же: 294]. Возникает естественный вопрос о причине этого расхождения: «Этого не случилось потому, что для такого развития не было социальных условий. Я имею в виду, - продолжает В.М. Живов, - отсутствие сословной организации феодального общества, в котором сословия определяются правами и привилегиями их членом, т.е. их легальным статусом. При отсутствии такой организации неоткуда взяться и городскому (бюргерскому) обществу, в отстаивании своих прав опирающемуся на легальные процедуры» [там же: 295].

Не случайно понятие о правовом субъекте в европейских языках формируется на основе понятия жителя города (ср. англ. citizen, фр. citoyen, ит. cittadino, нем. Burger): «Тот факт, что новое понимание взаимоотношений власти, общества и личности в монархических государствах выражалось именно через понятие «гражданин» имело свою историческую закономерность. По всей Европе горожане были самой независимой частью населения» [Марасинова 2008а: 105].

На этом фоне история русского понятия *гражданин* выглядит аномальной: «Теряя свое первоначальное значение «горожанин», [понятие *гражданин*] наполнялось исключительно государственно-правовым или нравственно-этическим смыслом и не отягощалось этимологической связью с наименованием класса «буржуа» [там же: 108]. И если остановиться на констатации этого несоответствия, то результатом такого размышления будет лишь чувство некоей исторической ущербности, которое, впрочем, ничего не проясняет. Однако следует отдавать себе отчет в том, что не просто *гражданин* перестал означать *горожанина*, а произошло функциональное распределение славянизма и русизма: именно неполногласная форма терминологизировалась и стала принадлежностью системы социально-политических понятий. Учитывая, что «оппозиция русского и церковно-славянского связана с целым рядом других оппозиций, основополагающих для русского культурного сознания (культуры-

быта, божественного-человеческого, сакрального-профанного и т.д.)» [Живов 2002: 189], к этому факту следует отнестись внимательно (см. обо этом Гл. 4. §1).

Выстроенная таким образом каузальная цепочка укладывается в описанную в первой главе «факторную модель» изменений в языке: были названы «внешние факторы» (несформированность сословий) и «внутренний» (ситуация церковнославянско-русской диглоссии). Более глубокий взгляд, однако, позволят повернуть причинно-следственный вектор в противоположную сторону: «Не происходит ли это от того, что у восточных славян нет слов, в которых они могли бы помыслить подобные институции? [там же: 296].

§2. Основные тенденции лексико-семантических изменений в «переломную эпоху».

Этот вопрос задается вполне в логике Р. Козеллека, постулирующего роль «ключевых исторических понятий» как индикаторов и как факторов внеязыковых событий. Эти понятия, напомним, формируются в «переломную эпоху», которой для Европы является раннее Новое время. Где «находится» подобная эпоха для русского языка – вопрос неоднозначный.

Так, для историка М.М. Крома представляется важным проводить не одну границу «переломного времени», а выделять несколько «переломных периодов», имманентно равнозначимых – это и эпоха создания единого государства (XV-XVI вв.), и XVIII столетие, это реформы XIX в. и период начала XX в., связанный с Великой Октябрьской революцией и т.д. Для него это эпохи, когда «ключевые понятия подвергались радикальным изменениям вместе с соответствующими социально-политическими институтами» [Кром 2010: 15]. Подобное решение вопроса о «переломном времени» исходит из примата «внешних факторов» над собственно-языковыми. Если же исходить из понятия «лингвистического события» (Ж. Гийому), то логичнее будет принять более укоренившуюся в лингвистике точку зрения на ключевую роль Петровской эпохи.

Вопрос о лингвистических новациях этого периода, об иноязычных заимствованиях, о семантических кальках и сдвигах исследован достаточно

подробно²⁸ – что делает возможным выделить существенные с точки зрения истории понятий лингвистические события. Назовем следующие из них:

1. «повышенная динамичность лексико-семантической системы столетия» [Сорокин 1977: 29]: огромный пласт новой лексики (заимствование, калькирование), переосмысление слов (разных языковых «регистров», выдвижение прежде второстепенного значения слова в центр понятия и др.), возникновение лексических дублетов с последующей дифференциацией подобнозначимого. Здесь приведем пример со словом *патриот*: если само слово фиксируется в тексте 1716 г. (текст о Северной войне, имеющий целью разъяснить и в какой-то степени оправдать политику Петра и «транслировать» интенции власти в отношении подданных), то понятие о патриотизме возникает значительно позже²⁹. Сначала идет процесс соотнесения с ранее существующим словом *отечестволюбец* с последующим его вытеснением в связи с решением «проблемы соотношения понятийных и языковых структур» [Риккен 2010: 67].

2. «модернизация дискурсивных практик»: «семантические сдвиги представляют собой не только феномены истории слов, но и феномены истории понятий». При этом «постепенность дискурсивных изменений сочетается с постепенностью социальных перемен» [Живов 2009: 13-14]. Можно привести такие примеры: *долг*, *долженство*, *должность* (гражданский, секулярный смысл), *управление* (многозначное слово начинает все более однозначно соотноситься с *дирекцией* – что отражает и одновременно закрепляет сдвиг в представлении о власти как о бюрократическом аппарате).

3. «индивидуальные случаи семантического развития» [там же]: В.М. Живов приводит пример со словом и понятием *народ*, *народный*. Наряду со стабильным смысловым компонентом ‘простой народ, чернь’ (соответствие

²⁸ См., в частности: Биржакова [1972], Сорокин [1977], из недавно вышедших – Габдреева [2010], помимо классической работы Живов [1996], краткий обзор содержится в [Живов 2009] (здесь перечислены только те работы, на которые мы непосредственно опирались в данном параграфе).

²⁹ «Системообразующей основой мировосприятия... выступала христианская религия, учившая любви к Богу, а не к грешной (пусть даже родной земле)» [Кром 1994: 19]. Кроме этой работы об этом понятии см. [Черная 1989], Агеева [1994].

лат. *plebs*) развивается многозначность: «жители страны, государства, принадлежащие к низшим сословиям» [СЦРЯ II: 399]. - и так происходит сближение с фр. *peuple*. Однако прилагательное *народный* может соответствовать фр. *populaire, nationale* – «как обозначение органичного единства нации» [Живов 2009: 18].

§3. Соотношение французского и русского языков в тексте «Наказа» Екатерины II.

Исследователями неоднократно отмечалось, что «в истории ключевых понятий в России высока доля интенциональности, авторства» [Миллер, Сдвижков...2012: 17-18], что «через свои цивилизующие и ранжирующие речевые акты власть выступает в роли первого “ковача слов”» [там же]. Одним из ключевых документов для истории социально-политического содержания тех русских слов, которые впоследствии стали терминами социально-правового и политического дискурса, является «Наказ» (1767) Екатерины II. Это первый официальный и имеющий широкое распространение документ, отражающий формирование социально-политических понятий в русском языке.

«Наказ Императрицы Екатерины II никогда не имел силы действующего закона... Он важен как первая попытка положить в основу законодательства выводы и идеи просветительской философии» [Чечулин 1907: 1]. Возникает вопрос о том, насколько Екатерина действительно желала эти концепты «сформировать» – по аналогии с французским социально-политическим дискурсом того времени. Так, известно, что обширные «заимствования» из текста Монтескье входили в «Наказ» в искаженном виде, когда смысл менялся до противоположного (например, определение деспотии по Монтескье приписано монархии). Серьезным аргументом в пользу «миражности» русского просвещения (В.М. Живов) является и тот факт, что новый свод законов, ради которого была созвана Уложенная комиссия 1766-1767гг. и для депутатов которой писался «Наказ», так и не был создан. В 1768 году комиссия была распущена в связи с началом русско-турецкой войны и больше не созывалась.

Однако едва ли справедливо решать этот вопрос столь однозначно. «Наказ» - не единичный факт, а элемент политической и культурной программы Екатерины II, в основе которой представление о том, что «идеология русского абсолютизма должна быть адекватна вызовам времени, а потому ей следует усвоить все те достижения европейской политической мысли, которые ей не противоречат» [Ивинский 2011: 5]. Известно, что первоначальную рукопись Екатерина II «подвергла...цензуре нескольких доверенных и близких лиц, и то из этого пересмотра Наказ вышел в измененном виде» и «переработка была довольно значительна» [Чечулин 1907: 2]. О продуманности формулируемой концепции, как и об осознанном введении новых для российской политической и правовой мысли идей говорят многочисленные письменные свидетельства самой Екатерины II. Так, например, в рукописи, относящейся к периоду, непосредственно предшествующему началу создания «Наказа», следующее замечание (о Манифесте о созыве Уложенной комиссии): «...il y a dans le Manifeste deux chemins à prendre – l'un est de suivre le fil de ce qui a été fait jusqu'ici et d'appeler les députés pour leur faire écouter ce qu'on a fait la dessus depuis 1714 jusqu'à présent, leur ordonnant de l'examiner d'après la Grande Instruction et selon la forme prescrite. Le second chemin est de dire que tous les soins qu'on s'est donné sur cette matière étant devenu inutile *Nous commençons par un autre bout toute cette affaire et à cette fin etc.*» [«В Манифесте возможны два пути: или следовать уже намеченному пути и созвать депутатов для обсуждения того, что было сделано с 1714 года до настоящего времени. Их задачей будет рассмотрение [этого] в соответствии с Большим Наказом и предписанной формой. Второй путь – признать, что все, предпринимаемое на этот счет прежде, оказалось совершенно бесполезным. Необходимо начать заново и совершенно с другой стороны»] (выделено мной – Г.Д.) [там же: LXXVII]. Показательно также замечание, сделанное императрицей в ответ на критику «Наказа» А.П. Сумароковым: «Господин Сумароков хороший поэт, но слишком скоро думает <...> он связи довольно в мыслях не имеет, чтоб критиковать цель и для того привязывается к

наружности колец, составляющих цепь, и находит, что здесь и там...ошибки есть, которых пороков он бы оставил, если бы понял связь» [СБРИО, X: 87].

О «дальнодейственном» характере мысли Екатерины II говорит и такое ее замечание в ответ тому же А.П. Сумарокову: «Скоро сказать, да не скоро разбирать можно» [там же: 86]. В 1785 году (то есть спустя 19 лет после написания «Наказа») в письме Гримму Екатерина II довольно резко отзывается о критическом комментарии Дидро по поводу этого документа: «*Cette pièce (письмо Дидро – Г.Д.) est un vrai babil dans lequel on ne trouve ni connaissance de choses, ni prudence, ni prévoyance <...> Or, je soutiens, que mon instruction a été non seulement bonne mais même excellente et bien appréciée aux circonstances*» [Это письмо (письмо Дидро – Г.Д. – совершеннейшая чушь, мы не находим в нем ни понимания вещей, ни осмысления, ни способности к прогнозу <...> Так что я по-прежнему считаю, что мой Наказ не только был хорош, но даже и прекрасен и совершенно уместен сопутствующим ему обстоятельствам]. [Чечулин 1907: СХХVI].

Создавая свой «Наказ», Екатерина II предвидела последующие упреки: «Многие критиковали Монекину, не разумея его; я вижу, что сей жребий с ним разделю» [СБРИО, X: 84]. Труды европейских мыслителей³⁰ Екатерина II использовала «для решения своих задач, основной из которых было обоснование идеологии абсолютизма» [Ивинский 2011: 9], и «все эти тексты послужили только “литературными кирпичиками” для построения вполне политически самостоятельной концепции власти и правовой политики» [Омельченко 2011: 316].

Роль французского языка для текста «Наказа» колоссальна. Во-первых, большая часть заимствований в «Наказе» – из Монтескье («О духе законов»). Во-вторых, первоначальные заметки и выписки Екатерины II (и, судя по всему, и первый текст «Наказа») – были написаны по-французски.

³⁰ Монтескье, Бекариа, Люзак, Юсти, Дидро, Д’Аламбер [Чечулин 1907], [Омельченко 2011].

Интересно, что в работах, посвященных «Наказу» не сообщается прямо, кто именно является автором русского текста «Наказа». Подразумевается, что автор русского текста идентичен автору сформулированной концепции (то есть это Екатерина II). Создание языка для социально-правового дискурса французского Просвещения – совсем не тривиальная лингвистическая задача. Вопрос о том, в какой степени Екатерина II овладела русским языком к моменту написания «Наказа», едва ли может быть разрешен с необходимой точностью. Изданы рукописи императрицы – за исключением нескольких не очень длинных фрагментов на русском языке, они написаны по-французски³¹. Комментаторы упоминают о «переводе на русский язык», выполняемом Академией наук [Чечулин 1907]. Окончательный вариант русского «Наказа» написан рукой «коллежского советника Григория Козицкого». Но и его роль выглядит двусмысленной: иногда ему приписывается роль переводчика, а не переписчика и даже перечисляются изменения, которые он привнес в русский текст при переводе [там же: 3].

Вместе с тем известно, что первоначальный русский текст правился императрицей, иногда существенным образом менявшей смысл и расстановку акцентов. И именно с подписанного и выверенного Екатериной II русского текста делался перевод на французский язык³² (вышедший впервые в 1769г.). «В тех случаях, когда исправления русского текста отделяло его от первоначального французского сколько-нибудь значительно – произведены были потом соответствующие изменения и во французском тексте; лишь несколько раз этих изменений почему-то сделано не было» [там же: LXV]. Эти изменения с очевидностью показывают наличие определенных стратегий создания русского

³¹ Относительно одной из коротких заметок, написанных по-русски, комментатор отмечает, что «в оригинале писано с поправками и с помарками» [Чечулин 1907: LXXVII]. В некоторых случаях над французским словами Екатериной надписывались русские – не всегда точный (и единственно возможный) перевод – очевидно, она размышляла над подходящим русским эквивалентом (напр.: *institution* - установление, *corps* - учреждение, *devoirs* – исполнение).

³² Ср. надпись Екатерины II на одной из рукописных тетрадей: «Fragments du manifeste du 14 decembre 1766 et partie de l'instruction de la commission en français, mais qui ne pourroient paroître ou grand jour qu'après avoir été scrupulseusement comparés à l'original russe signé, vue qu'il y a des corrections sans nombre» [Чечулин 1907: 3?].

текста, не ограничивающихся собственно проблемой перевода с одного языка на другой. В Чечулин 1907 приводятся, например, такие фрагменты:

1. Un législateur sage auroit chercher à ramener... – Премудрый законоположник искал бы способов... - Можно и тут сыскать способы... - Il reste encore un moyen de ramener

2. Un bon législateur prend...il n'ordonne que... – Хороший законодатель...он налагает... Хорошие законы держатся...они налагают... - De bonnes lois prennent...elles n'ordonnent que...

Буквальный перевод с французского языка подвергается модификациям, обличающим одну и ту же стратегию: исключить носителя власти из дискурса о должном устройении государства как явление, не подлежащее дискуссии. В первом примере морализаторский и дидактический тон французского текста нейтрализуется преобразованием конструкции в безличную (устранение «законоположника» в позиции субъекта). Во втором – на место синтаксического субъекта выносятся объект («законы»). Учитывая, что создание законов – прерогатива правителя, измененный русский текст прочитывается не как принцип создания законов, а как манифестация «государевой воли». «Самодержавная воля – главная движущая сила Российского государства, и поэтому независимо от того, сколько говорится об общественном благе...идея...насаждается по приказу государя, абсолютного господина в своем владении» [Хархордин 2002: 182-183].

Эти короткие примеры показывают, что сравнение русского и французского³³ текстов «Наказа» позволяет выявить те смыслы, которые вкладывались Екатериной II в создаваемую ей политико-правовую концепцию.

³³ Вышедший в 1769г. в Петербурге французский перевод с подписанного императрицей русского оригинала – «официальная версия». Этот экземпляр до нас не дошел, но сохранилось его воспроизведение 1770 года в четырехязычном издании (на русском, латинском, немецком и французском языках). В 1768 году Екатерина II отослала рукописный французский перевод «Наказа» Вольтеру. Этот вариант, как отмечается в Чечулин 1907, был ближе к русскому тексту. При издании же были внесены корректировки «в основном стилистического характера» (Чечулин), которые, однако, отдалили французский текст от русского. В Европе «Наказ» на французском языке получил известность благодаря независимым западным изданиям (т.к. перевозка книг за рубеж осуществлялась в ограниченном количестве). В 1769 г. с разницей в несколько месяцев в Ивердоне и Лозанне выходит французский перевод, сделанный с немецкого перевода и поэтому в сильной

§4. Замечания об истории слов *société* и *citoyen* во французском языке второй половины XVIII в.

Чтобы сопоставить смысловые модели, создаваемые в русском и французском текстах «Наказа», необходимо знание о значении французских социально-политических терминов. Представим кратко (с опорой на толковые словари XVIII в.) историю слов *société* (общество) и *citoyen* (гражданин) во французском языке второй половины XVIII в.

4.1. Société. Прежде чем стать «ключевым словом политического языка французского Просвещения» [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 1985: 32], слово «*société*» должно было пройти длинный путь и «побороть» некоторое количество однокоренных неологизмов (таких как *socionomie*, *sociocratie*, *socialcratie* и даже *socialisme*).

Латинское *societas* восходит к *socius*, что означает «celui qui accompagne, qui est associé avec», «compagnon», «l’allié»³⁴, дериват *socialis* означает «sociable» (общительный), «conjugal» (супружеский)³⁵. Соответствующий глагол – *socio* значит «associer, allier» (соединять, связывать)³⁶. «Как и *socius*, *societas* представляет различные типы связей – социальные, военные, общественные, торговые. Слово означает то процесс соединения, то результат этого действия»³⁷ [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 149]. Однако значение «военного союзника» уже не фиксируется в «Историческом словаре» (Le Robert historique) к 1560 г., и первое

степени искаживший оригинальный текст. В 1771 г. по инициативе Д.А. Голицына издается более качественный перевод первых двадцати глав по петербургскому изданию 1769 года.

Таким образом, единственный авторитетный и доступный перевод – текст из сборника 1770 года. Именно этот текст воспроизведен в параллельном русско-французском издании Чечулин 1907, и на него мы будем в дальнейшем опираться.

³⁴ Здесь и далее толкования латинских слов приводятся с опорой на французские этимологические (Le Robert étymologique 2006) и латинско-французские словари (Gaffiot, 1934) с целью показать связь корней. Перевод с латинского на русский язык будет даваться в сносках – по латинско-русскому словарю О. Петрученко (М., 1914). Перевод французских дефиниций в моем переводе – Г.Д.

Socius – принимающий участие, соучастник, товарищ, компаньон [Петрученко: 596].

³⁵ *Socialis* – общежительный, брачный, супружеский. Союзный, касающийся союзов. Ср.: *sociabilis* – общежительный, уживчивый, миролюбивый [там же].

³⁶ *Socio* – делать общим, разделять что с кем, соединять, совокуплять, сообща предпринимать [там же]

³⁷ «Comme *socius*, *societas* présente defférentes faces du lien social, militaire, public, commrecial. Il signifie tantôt l’acte d’association, tantôt le résultat de cette association».

значение – «чувство дружбы и объединения по отношению к кому-либо и возникающая в результате связь»³⁸. Значение торговых сообществ (*sociétés commerciales*) восходит к XVII в. Одновременно слово *société* означает «различные типы объединений и в особенности религиозные»³⁹.

К концу XVII в. словари фиксируют употребления в юридическо-торговом значении. Так, в словаре Richelet (1680): «Добровольный договор, по которому нечто становится общим, для совместного и честного использования. Вступить в *société* с кем-либо. Разорвать договор о *société*»⁴⁰. Здесь слово «договор» выступает как гипероним, а «*société*» имеет процессуальное (а не результативное) значение. Результативное значение фиксируется в словаре Furetière (1690): «договор для какого-либо дела»⁴¹. *Société* как объединение людей в значении «компания» возникают спорадически на протяжении XVIII в. Р.А. Будагов приводит такой пример: «il est de notre *société*» (1671). Цит. по [Будагов 2002: 169]. Но, как отмечает, исследователь, это значение скорее должно восприниматься как понятное, но отходящее от нормы употребления.

В первом издании словаря «Trevoux» (1704) интересное уточнение: «*Société* – объединение многих людей в одном месте ради [договора] о взаимной безопасности в реализации своих потребностей» («l'assemblage de plusieurs hommes dans un lieu pour s'entrecourir dans les besoins») [там же: 171]. Здесь делается акцент на пространственном параметре («в одном месте»), что метонимически может отождествляться с «*société*». Последнее в таком случае мыслится уже не только как «результат», но и как некая оконтуренная сущность. Впрочем, этот пример для начала XVIII в. также потенциально продуктивный, но все же отход от нормы.

³⁸ «Le sentiment d'amitié, d'alliance éprouvé pour autrui et le lien qui en résulté». Цит. по [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 149].

³⁹ «toutes sortes d'associations, en particulier religieuses».

⁴⁰ «Contrat de bonne foi par lequel on met en commun quelque chose pour en profiter honnetement. Entrer en *société* avec quelcun. Rompre le contrat ce *société*» (цит. по [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 150]).

⁴¹ «Un contrat pour quelque affaire». Цит. по [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 151].

Во всяком случае, то, что называется словом *société*, никогда не существует как «данность», а постоянно создается по тем или иным критериям, исследователи подчеркивают его «квази-отглагольное значение»⁴². Это значение близко к адъективному значению, выражающемуся в прилагательном *socialbe*, называемом «исконно присущий человеческой природе инстинкт»⁴³. Так, в словаре Furetière дается следующее определение: «Sociable – тот, кто обладает мягким нравом и расположен к жизни в компании. Человек – единственное животное, для кого это качество природно и кто вступает в дружеские контакты с другими ради взаимной безопасности»⁴⁴. Ср. в словаре Richelet (1680): «Человек естественным образом любит *société* и только с сожалением покидает его»⁴⁵.

Вслед за С. Бранка-Розоф и Ж. Гийому, можно выделять четыре ситуации, называемые словом *société*: 1. процесс (*entrer en société avec quelqu'un*); 2. результат (*un contrat pour quelque affaire*); 3. «в малой степени структурированные группы индивидов» (*c'est un homme de bonne compagnie*); 4 «отдельные сообщества» (*livre imprimé par la société des librairies de Paris*).

Именно с последним из этих четырех типов употребления связывается определенный «сдвиг» в семантической структуре слова-понятия: «Речь уже идет не о лингвистическом выражении предельно общего понятия, а о конкретной институции, расположенной в данном месте и в данном времени и имеющей свою номинацию» [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 153]. Так, «*société*» означает «*société des Jésuites*» (*общество иезуитов*) и по метонимическому переносу - «*les Jésuites*» (*иезуиты*). Таким образом, слово приобретает семантическую позицию актанта. Ср.: «*la politique de la société*» (*политика общества*) в значении «*la société a une politique*» (*у общества есть политика*) [там же: 154].

⁴² «Une valeur quasi déverbale du terme» [там же: 151].

⁴³ «Instinct inhérent à la nature humaine» [там же 152].

⁴⁴ «Sociable – qui est d'un naturel doux et disposé à vivre en compagnie. L'homme est le seule animal naturellement sociable et qui peut faire liason, amitié avec un autre, pour s'entrescourir» [там же].

⁴⁵ «L'homme aime naturellement la société, et ne la quitte qu'à regret» [там же].

В первом издании «Словаря французской Академии» (1694) *société* означает «отношения», «связи», «знакомства», «которые люди любят иметь между собой». В четвертом издании (1762) субъективное «любят» заменяется нейтральным глаголом «имеют» («деловые, дружеские связи, которые люди имеют между собой») и сама дефиниция дополняется новым компонентом: «объединение людей на естественном основании и на основании законов». «Это последнее замечание – «законами», - пишет Р.А. Будагов, - и дает нам право считать, что Академия в 1762 г. попыталась дать не только общее, но и социальное определение понятия» [Будагов 2000: 170]. Однако еще до появления в дефиниции слова «закон» фигурирует слово «правило» (*la regle*): «совокупность людей, объединяющихся, чтобы совместно жить согласно правилам религии или для обучения. Les Pères de la Société» (*Отцы общества*).

Постепенно «от самого общего понятия связи выделяются характеристики различных «обществ» в зависимости от сферы применения слова» [Branca-Rosoff, Guilhaumou 1985: 154].

В издании «Trevoux» 1771 г. социальный компонент в дефиниции назван дважды: «Совокупность людей, объединенных общим правлением и общими законами» («*Assemblage d'hommes unis ensemble sous le même gouvernement et sous les mêmes lois*»). Показательно употребление пространственного предлога: «Дикари не живут в обществе» (ср. в словаре Furetière: «Дикари народы не живут обществом»), что подразумевает существование некоей абстрактной единицы, обозначающей общность людей.

Однако истинным «рубежом» на пороге к собственно социально-политической концептуализации понятия является «Энциклопедия», провозгласившая, что «люди суть созданные для жизни в обществе» («*les hommes sont fait pour vivre en société*»). В отличие от словарей «Энциклопедия» описывает определенные понятия, а не полисемию отдельно взятого слова.

Употреблявшееся с XV в. сочетание «*société civile*» (калька с латинского *societas civilis*) приобретает терминологический статус и противопоставляется

«société religieuse» (религиозное общество). Ср.: «Nous posons donc comme maxime fondamentale [de la sociabilité – Г.Д.] et comme une conséquence évidente de ce principe, que la société religieuse n’a aucun pouvoir coactif semblable à celui qui est entre les mains de la société civile» [Итак, в качестве фундаментального положения (лежащего в основании социальности – Г.Д.) мы определяем очевидный принцип, согласно которому религиозное общество не имеет никакой власти, сопоставимой с той, которая находится в руках у гражданского общества]] (цит. по [Branca-Rosoff, Guilhaumou: 161]).

Société оказывается в центре интеллектуальных событий эпохи, когда ведется поиск новых оснований для организации «espace public». «Энциклопедия» вводит слово *social*: «слово вновь введенное во французский язык (из сферы коммерческих отношений) для обозначения полезного для общества человека. Пр.: общественные добродетели» [там же: 162].

Интересно здесь следующее: каким образом возникшее изначально в устойчивом сочетании с прилагательным новое значение «société civile» в оппозиции к «société religieuse» постепенно становится основным значением «société» в изолированном употреблении? Возможно, здесь существенную роль сыграла семантика латинского корня – значение процессуальности, динамичности. *Sociare* «обслуживает» не материально заданную единицу, а постоянно ее создает. «La société politique – не заданная априори сущность – в географическом или этническом плане. Это некая общность (communauté), основывающаяся на динамических связях. Именно понятие связи, пронизывающее все поле полисемии слова *société*, определяет форму характерных объединений в sociétés politiques» [там же].

В приведенном замечании подмечена интересная особенность: *société* (*sociare*), становясь социально-политическим термином, семантически приближается к понятию *communauté* (*communicare*). Ср. определение в «Словаре социо-политических употреблений»: «многочисленная группа людей, связанных между собой одним законом и общностью интересов» [там же: 149].

В латинско-русском словаре О. Петрученко *socius* и производные от него трактуются русскими словами с корнем *-общ-*.

Фундаментальная же разница между *sociare* и *communicare*, судя по всему, заключается в том, что первое называет связь одного с другим, где обе единицы равноправны, а второе – способ взаимодействия двух и более (не обязательно равноправных и однородных) единиц. *Sociare* – это отношение между индивидами, отношение симметричное и равноправное. То «общее» (связь), что их связывает, возникло благодаря изначальной симметричности их отношения. В то время как *communicare* само привносит нечто «общее», неизбежно «принуждая» к уравниванию.

К похожему рассуждению приходят и авторы «Словаря социально-политических словоупотреблений». Вот, что они пишут о семантике *sociare*: «...эти связи присущи отношению между индивидами... — поскольку объединение одного с другим концептуализируется, например, в выражении “*entrer en société avec quelqu’un*” (*вступить в общество с кем*). Роль отдельного индивида является решающей также и в происхождении этого соединения: общества — это продукты действия двух независимых индивидов, отношение между которыми симметрично (договор предполагает равноправие сторон) и которые преследуют – каждый – свою цель» [там же: 151].

4.2. Citoyen. Во французском языке распад *bourgeois* и *citoyen* (вплоть до последней трети XVIII в. приводимые в словарях как синонимы) происходило на фоне формирующейся антиномии *citoyen vs sujet*. Новая семантика *citoyen* становится возможной именно на фоне переосмысления отношений между властью и теми, на кого эта власть распространяется: «Понятие гражданин...отмечает завершение медленного процесса политико-морального освобождения, происходящего в сознании человека XVIII в. Сначала человек был вассалом сеньора, затем...подданным короля... И вот наконец он стал гражданином» [Robin 1970: 333]. Понятие *sujet*, однако, не исчезает, оно оказывается нужным для конкретизации правовых отношений в новой модели

политического устройства. Эти разграничения точно показаны в следующей формулировке Ж.-Ж. Руссо: «Они [люди] объединяются именем *народа*, по отдельности именуясь *гражданами* как принимающие участие во власти суверена и *подданными* – как подчиняющиеся законам государства» [там же: 330].

Последняя треть XVIII в. – период *темпорализации семантики* французского *citoyen*. Это означает, что смысловая структура слова образует два временных полюса (в терминах Р. Козеллека «область опыта» и «горизонт ожидания») – определенное семантическое натяжение между опытом употребления слова и новыми интенциями отдельных «производителей дискурса». Эта семантическая поляризация – конфликтное состояние, когда от результатов «лингвистической борьбы» зависит внеязыковая реальность.

Это конфликтное состояние наглядно представлено в дефинициях толковых и критических словарей (*dictionnaires critiques*) эпохи⁴⁶. Значимым изменением в идеологии словарей этого периода является, во-первых, появление временного параметра в толковании слова, но не в смысле исторической семантики (то есть с акцентом на изменении лексического значения), а в представлении о пересечении некоей границы между прошлым и настоящим, так, что слово как бы распадается на два омонима (*citoyen & bourgeois, citoyen VS bourgeois*). Доминирующим является внеязыковой фактор, и слово, в сущности, «обслуживает» два разных мира. Во-вторых (и это уже собственно-языковой фактор), меняется метаязык словарного описания. Представляемая в словаре дефиниция – лично значимое осмысление, в котором «задействовано» инклюзивное «мы» (*on*) или перволичная форма (*je*), временной дейксис (*maintenant, depuis quelque temps – сейчас, в течение некоторого времени*), а также происходит апелляция к авторитету языковой личности, которая и становится точкой отсчета для определения *bon usage* (*Rousseau se qualifiait de Citoyen, Rousseau leur reprochait d'employer ce mot sans connaitre sa veritable*

⁴⁶ Подробный анализ французских словарей представлен в [Branca-Rosoff 1988].

signification – Руссо определял себя как Гражданина, Руссо упрекал их употреблении этого слова без понимания его истинного значения).

Временной параметр эксплицируется в словарях постреволюционного периода. К временному параметру относятся, в сущности, два различных аспекта. Первый связан с экстралингвистической реальностью (l'ancien régime VS nouveau régime), второй отсылает к семантическому пространству понятия лат. *Civitas*. Именно с последним аспектом связано возникновение темпоральной семантики *citoyen*.

«Dicrionnaire de la constitution et du gouvernement français» Готье (Gautier) начинает дефиницию с политического значения: «Titre de l'homme libre en société. L'homme en société est libre, quand il concourt à la formation des loix auxquelles il doit obeir»⁴⁷ [Качество свободного человека в обществе. Человек в обществе является свободным, когда может участвовать в создании законов, которым должен подчиняться]. Далее акцентируется внутренняя форма слова («*citoyen*, с'est-à-dire, membre de la *cité*» - «гражданин, то есть член града, полиса») и этимологическому значению придается статус истинного, единственно верного («une ville n'est point un *cité*, on entend par *cité* (*civitas*) une réunion d'hommes qui se gouvernent eux-mêmes. L'homme qui n'est point *citoyen* est esclave» [город не то же самое, что полис. Полис – объединение людей, которые сами собой правят]). Это этимологическое, *новое* значение относится к постреволюционному периоду: «Les Français n'étaient pas *citoyens* avant la révolution qui leur a rendu l'exercice de leurs droits naturels» [Французы не были гражданами до революции, которая вернула им в пользование их естественные права]. Итак, новая семантика *citoyen* представляет собой возврат к «исконному значению» *civitas*, потому что именно в нем запечатлено «естественное положение» жителей государства, заключающееся в их активной позиции по отношению к государственному управлению. Эта «этимологическая интерпретация» - не только политическая риторика, это условие возникновения

⁴⁷ Здесь и далее цит. по: [Branca-Rosoff: 71].

определенного типа реальности. «Ошибка революционеров, - пишет Б. Спектор, - было взять за пример модель римского государства или греческого полиса, не понимая того, что эти модели соответствуют не существующим более формам государственности» [Spector 2000: 17].

Однако если не осмыслять этот семантический поворот в категориях оценочного слова «*erreur*» (ошибка), а рассматривать его в качестве конститутивного элемента новой семантической структуры *citoyen*, то можно наблюдать возникновение того, что Р. Козеллек называется «временными наслоениями понятия». Один из базовых постулатов *Begriffsgeschichte*, сформулированный Р. Козеллеком, звучит следующим образом: «Как только слово употреблено с определенным значением и привязкой к специфической реальности, это слово становится единственным в своем роде» [Козеллек 2010: 23]. Далее дается определение темпоральной семантики: «Как только *societas civilis* переводится как «*civil society*» или как «*société civile*», коренным образом меняется первоначальное значение понятия...Понятие обладает разными временными наслоениями, смысл которых имеет силу на протяжении различных промежутков времени» [там же: 25].

Порывая с дореволюционной традицией употребления («область опыта») и постулируя возврат к тому значению, которое учитывает *droits naturels*, понятие о гражданине задает определенную семантическую перспективу («горизонт ожидания»): «*le titre de citoyen décore maintenant tous les Français; fondé sur la nature, il est immortel comme elle: les tyrans peuvent le ravir aux hommes, mais tôt ou tard il triomphe des tyrans*» [Статус гражданина относится теперь ко всем французам. Основанный на природном праве, этот статус вечен, как и сама природа]. Темпоральная структура понятия *citoyen* состоит из следующих «временных слоев»: 1. понятие *societas civilis*, описывающее структуру римского общества и характеризующее состояние свободного взрослого человека (в противопоставлении рабу), участвующего в управлении государством; 2. узус употребления, при котором *citoyen* - синоним *bourgeois* (и этот слой относится к

«области опыта»; 3. «перспективная семантика», представленная в дефиниции в изъявительном наклонении и в форме наст.вр., то есть как уже существующая (этот слой создает «горизонт ожидания»).

Таким образом, *sujet* и *citoyen* противопоставлены не только и не столько потому, что являются именами противоположных во внеязыковой реальности «референтов», а потому, что *sujet* осталось термином, тогда как *citoyen* стало понятием с многослойной темпоральной структурой. Сущностной характеристикой таких понятий, по Козеллеку, является их способность выступать как «факторы» исторического развития. Одной из любопытных иллюстраций этого постулата может послужить история неологизма *citoyenne* (форма ж.р.).

Наряду с изменениями в семантической структуре понятия *citoyen*, у него появляется перформативная функция – выступать в роли обращения: «Citoyen X... ». Исключительно в качестве грамматического коррелята в употребление постепенно входит форма женского рода – *citoyenne*. И это становится «лингвистическим событием» (Ж. Гийому): «Именно в этой “звательной” функции я усматриваю наиболее существенное лингвистическое событие. Кроме того, лексема *citoyenne* была настоящим неологизмом», - констатирует А. Жофруа [Geffroy 1988: 72]. Однако новообразование не ограничилось собственно-языковой сферой: «Поскольку словоупотребление сделало женщин гражданами (*citoyennes*), они могли претендовать на то, чтобы стать ими вполне, то есть юридически» [там же]. Так слово *citoyen* привносит во внеязыковую реальность качества и признаки понятия, которое оно выражает.

Эти изменения во французском языке встречают иронические отклики в официальной российской публицистике (напр., статья «Признаки кружения голов французских» в «Вестнике Европы»). «В российском контексте подобные разграничения изменений в личных обращениях оценивались как бессмысленные, так как слово «гражданин» имело политически нейтральное значение и не вызывало ассоциаций с идеями социального равенства» [Тимофеев

2011: 88], а *гражданское общество* и *государство* не осмыслились в антагонистическом ключе⁴⁸.

§5. Языковые стратегии создания модели *гражданин-общество-государство* в «Наказе».

Вступая в «просветительский дискурс», Екатерина II понимала, что «идеология русского абсолютизма должна быть адекватна вызовам времени, а потому ей следует усвоить все те достижения европейской политической мысли, которые ей не противоречат» [Ивинский 2012: 5]. Вопрос в том, что и в какой степени императрица сочла приемлемым для России и как мыслила «внедрение» этих идей на российской почве.

Система социально-политических понятий французского языка становится донором для создания терминологии русско социально-политической терминологии. И чтобы понять, как именно происходила рецепция этих смыслов, необходимо учитывать: 1) «Наказ» - политическая программа Екатерины II, отражающая ее видение государственного устройства России; 2) автор «Наказа» - лицо, обладающее высочайшим социальным престижем: это слова не философа (как, например, тексты Монтескье в философско-политическом дискурсе во Франции), но монарха; 3) хотя документ не стал легитимным (это не свод законов), он получил широкое распространение (через публичное зачитывание текста в правительственных учреждениях); 4) при переводе французских социально-политических терминов Екатерина II использовала языковые стратегии, отвечающее ее замыслу.

В русском языке эти слова имеют различную историю бытования.

Для слова *государь* в словаре древнерусского языка И.И. Срезневского выделяются следующие значения: «господин в смысле князя и вообще властителя», «владелец», «хозяин», «титул великого князя» [Срезневский: 563].

⁴⁸ Это можно проиллюстрировать примером из «Рассуждения о начале и основании гражданских обществ» А. Малиновского (1787): «В гражданских обществах верховная власть состоит в праве постановлять законы, побуждать к соблюдению их, повелевать и заставлять повиноваться». Цит. по [Тимофеев: 85].

Семантика власти (в том числе политической) присутствует в слове изначально, о чем свидетельствует и словообразовательная структура: *государь-ство* ('имеющее отношение, принадлежащее государю').

Иначе обстоит дело со словами *гражданин* и *общество*: у этих слов нет исконной связи с социально-политической сферой. Так, *гражданин* – номинация жителя по месту проживания («граженинь»). Семантика же слова *общество* предельно широка («общность») и связана с однокоренными словами, имеющими значения «вместе», «общий», «общение» [там же: 578].

В словаре языка XVIII века находим то же соотношение: *общество* – это, прежде всего «всеобщность», «совокупность» (ср.: *человеческое общество, общество священников*), *гражданин* – «горожанин». И только с «государством» связывается социально-политический смысл: «страна под одним управлением», «власть государя» [Сл. XVIIIв., XVI: 119-123].

Стратегия Екатерины II в отношении терминов *государство, государь* состоит в том, чтобы сделать их доминантными в русском социально-политическом словаре. Представленные во французском тексте *Etat, Empire, Monarchie, Patrie, Gouvernement policé* достаточно последовательно заменяются в русском тексте на *государство*. Та же стратегия и в отношении слова *государь* (фр. *Souverain, Monarque, Prince*).

Что касается слов *гражданин* и *общество*, то им только предстоит приобрести политическую семантику, и это происходит в неравной степени.

Контекстов на слово *общество* значительно меньше, чем для других рассматриваемых слов. Именно контексты с этим словом обнаруживают наименьшую степень корреляции между русским и французскими текстами. Показательно, что для русских контекстов характерна неточность перевода или отсутствие соответствующего термина: смысловой спектр русского слова шире, является менее специфицированным, чем его французский «аналог».

Французское слово *société* в последней трети XVIII в. – термин, политическая семантика которого, как отмечалось в предыдущем параграфе,

зафиксирована в 1762 году даже консервативным «Словарем французской Академии» («объединение людей на естественном основании и на основании законов»⁴⁹). Причина появления такой смысловой структуры у слова *société* связана не только с экстралингвистическими причинами (прогрессивные политические идеи во Франции), но и в немалой степени с семантикой корня и заключенными в нем смысловыми потенциями. Латинское *sociare* – это идея соединения двух равноправных элементов. И очень рано у слова *société* появляется значение «союз равноправных людей для совместного дела»⁵⁰ (XV в.).

Совсем иная логика для русского корня *-общ-*: его значение, индифферентное как к статусу потенциальных участников ситуации общности, так и к цели этого объединения, является максимально широким: ведь «общим», строго говоря, может быть что угодно. Поэтому, когда Екатерина II переводит определение государства по Монтескье как «собрание людей, обществом живущих, где есть законы» (ст. 37), слово *общество* не может выступать в роли семантического субъекта действия, тогда как французское *société* – это субъект правового и политического дискурса. Это можно наблюдать в следующем примере. Ср. в русском тексте: «Право давать законы о наказаниях имеет только один законодатель как представляющий во своей особе все общество соединенное». И во французском: «Le droit de faire des Loix pénales ne peut résider que dans le Législateur, comme représentant en sa personne toute la Société» (ст. 148). Во французском тексте «законодатель» выступает как «представитель интересов всего общества». В русском тексте он представляет «в своей особе все общество соединенное». Дополнительное слово *соединенное* «выдает» отсутствие социально-политической семантики у слова *общество*, проявляя его значение как «соединение людей», «все люди». По этой же причине в русском тексте может появляться слово *общество*, которого нет во французском тексте. Так, формулировку «сей закон весьма полезен для общества» (ст.180) следует

⁴⁹ Цит. по [Будагов 1940: 170].

⁵⁰ Цит. по [там же: 171].

понимать как «полезен всем людям». Во французском тексте валентность адресата остается незаполненной («la loi est utile»), потому что это привело бы к смысловой избыточности: понятие *loi* (закон) неразрывно связано с понятием о *société*. Все это приводит к тому, что в русском и французском тексте выражены, в сущности, совершенно противоположные смыслы: по-французски речь идет о соединении людей на основании общего закона, а по-русски – о суверене, выдвигающем закон, исходя из собственных представлений о «полезности» закона для всех подданных.

Пожалуй, наибольший интерес представляет в «Наказе» слово *гражданин*.

Его изначальная семантика – «житель», тот, кто населяет. Но одновременно с таким узким значением («обладающий гражданством города») бытует и другой тип употребления: *гражданин* – общая номинация для жителей страны. В законодательстве жители страны назывались *подданными* (Ср. «О разном состоянии подданных вообще», «ко благополучию верных наших подданных» и др.). Единственным официальным документом, вводящим в социально-правовой дискурс «конкурирующий» с общепринятым термин является «Наказ» Екатерины II (1767). Как отмечает Е.Н. Марасинова, соотношение терминов *гражданин-подданный* в тексте «Наказа» примерно 100:10, тогда как в других документах второй половины XVIII в. – 1:100 [Марасинова 2008а: 105]. И хотя в «Наказе», в духе риторики эпохи Просвещения, содержится немало определений, связывающих *гражданина* с *законом* и постулирующих равенство объединенных этой номинацией («Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам», «чтобы всяк из граждан мог сказать, что живет под защитой законов»), гораздо более осязаем и конкретен другой смысл: *граждане* – это те же *подданные*, но к понятию прибавляется дидактический компонент («Правила воспитания суть первые основания приуготовляющие нас быть гражданами»). Будущим гражданам нужно с детства «вперяти любовь к Отечеству», «страх

Божий», «охоту к трудолюбию», «почитание гражданских законов» и пр. А цель этого воспитания – «быть полезными общества членами и служить оному украшением»⁵¹.

Понятие *гражданин*, конечно, не полностью совпадает с *подданным*, но продолжает ту же смысловую линию, одновременно усложняя и структурируя свою семантику. Безусловно общая для *гражданина* и *подданного* семантика подчинения власти, осложняется внедряемым компонентом 'отношения между подданными' (*сограждане*), выражающим все те же обязательства перед властью (без эксплицируемых прав).

В тексте «Наказа» из трех рассматриваемых слов «гражданин» - наиболее частотное. В соотношении с французскими контекстами употребления слова *citoyen* представлена диссоциация по категории числа. Речь идет о двух типах ситуаций: 1) французскому единственному числу соответствует русское множественное (ср. «сердце граждан» и «*coeur du Citoyen*», «безопасность граждан» и «*sûreté du Citoyen*»); 2) русскому единственному числу соответствует французское множественное («жизнь каждого гражданина» - «*la vie des citoyens*»). В первом случае множественное число для русского слова свидетельствует о его слабой степени терминологизированности. Слово остается номинацией множества людей, не предполагая особого референта – субъекта политико-правового дискурса. Во втором случае множественное число французского слова означает, что номинации *гражданин* подвержены разные «категории людей», то есть: люди не разъединены тем, кто называется *гражданином* или нет, а самые разные люди соединены в этой номинации. Рассмотрим следующий пример. В русском тексте: «Если властям, долженствующим исполнять по законам, дозволить право задержать гражданина, могущего дать по себе поруки, то там уже нет никакой вольности», во французском: «*Si la puissance Législative laisse à l'exécutrice le droit d'emprisonner des Citoyens, qui peuvent donner caution de leur conduite, il n'y a plus*

⁵¹ Цит. по [Чечулин 1907: 105].

de liberté» (ст. 135). «Гражданин, могущий дать по себе поруки» - называет, в сущности, «платежеспособную» категорию населения. Русское единственное число может свидетельствовать о том, что, терминологизируясь, «гражданин» становится не политико-правовым, а сословным термином.

Гражданин - номинативная единица для модели «часть-целое». Характерно, что самому первому употреблению слова *citoyen* соответствует описательная конструкция «честный человек в обществе» (ст. 2). *Гражданин* - это своего рода номинативная единица политически нейтрального общества, а точнее, того *общества*, на которое направлена «государева воля» в форме «закона». Закономерно, что русское слово *гражданин* появляется в тех контекстах, где во французском тексте использованы другие номинации – как *esprits, individus* (ст. 208). Наиболее яркое проявление моделируемой смысловой структуры «гражданин как объект трансляции государственной воли» можно наблюдать на следующем примере. В русском тексте: «В государстве, противу внешних неприятелей защищенном и внутри поддерживаемом крепкими подпорами, то есть силою своею и вкоренившимся мнением во гражданах, где вся власть в руках Самодержца, в таком государстве не может быть в том нужды, чтобы отнимать жизнь у гражданина». Во французском: «Dans un état défendu contre les ennemis du dehors et soutenu au dedans par la force et par l'opinion ; où l'autorité est entre les mains du Souverain ; il ne peut y avoir aucune nécessité d'ôter la vie à un Citoyen» (ст. 210). Формально разница лишь в том, что в русском тексте заполнена валентность субъекта («вкоренившимся мнением во гражданах»), а во французском нет («par l'opinion»). Понять это различие можно, обратив внимание на сочетаемость. В русском тексте «вкоренившимся мнением во гражданах», тогда как во французском используется глагол *soutenir* («поддерживать»). Этот глагол указывает на граждан государства в качестве субъекта действия. А слово *вкоренившееся* как раз предполагает *граждан* в качестве объекта этих действий: «власти вкореняют нечто в сознании граждан».

Таким образом, три рассматриваемых слова (*гражданин, общество, государство*) в тексте «Наказа» входят в три типа отношений: «государство – гражданин» (где *гражданин* – номинация, равноправная с другими синонимичными: *люди, народ, подданные*); государство – общество (где *общество* – собирательная номинация для всех жителей страны); гражданин – общество (механизм отношения не эксплицирован). Основные выводы анализа могут быть сформулированы следующим образом: 1) магистральной смысловой и терминологической линией становятся «государь-государство»; 2) специфическое терминологическое значение получает слово «гражданин»: человек как «мишень» для проявления государевой воли и как ее исполнитель; 3) *гражданин* как единица *народа, людей* и *подданных*, которых объединяет подчинения *закону веры* и *закону государственному*; 4) слово *общество* не становится термином, однако отвечает на «запрос» номинации политически не активных и всецело зависящих от воли государя *людей*.

Кристаллизация понятий *гражданин, общество* как социально-политических терминов, таким образом, происходит на фоне конструирования той модели политической власти, при которой единственным «узлом», связывающим то, что именуется *обществом, законом, правом* является суверен – то есть абсолютный, ничем не ограничиваемый правитель.

§6. «Неофициальная» ось социально-политического дискурса.

«Наказ» вызвал живой отклик в кругах «интеллектуалов» - полемические, иронические или аргументирующие отсылки к этому документу неоднократно встречаются в статьях Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева, в текстах А.П. Сумарокова, на страницах журналов Н.И. Новикова. Именно в текстах публицистов последней трети XVIII в. происходит формирование того, что можно назвать «неофициальной» (в противоположность официально-государственной) осью социально-политического дискурса. Здесь велика роль отдельной языковой личности, сознательно ведущей поиски значения тех или

иных языковых форм. Для публицистов этого времени характерно, в сущности, франко-русское двуязычие, что позволяло переносить значения французских социально-политических терминов на русские слова.

Так, А.Н. Радищев в 1773г. переводит с французского книгу просветителя Мабли «Размышления о греческой истории». Разумеется, перевод имеет целью не только ознакомление русского читателя с древнегреческой историей. Отсюда некоторые «вольности». Так, слово *désotisme* Радищев переводит как «самодержавство» и сопровождает главу следующим примечанием: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не токмо не можем дать над собою неограниченной власти; но ниже закон, извет общей воли...Если мы уделяем закону часть наших прав и нашей природной власти, то дабы она употребляема была в нашу пользу; о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества» [Радищев 1954, I: 282]. В одном этом коротком замечании находят выражение те социально-политические отношения, какие лежат в основе французских понятий *société-citoyen*. Но для выражения этой модели используются русские слова, уже «приписанные» к совсем иной модели – что провоцирует прежде всего лингвистический конфликт. Возникает вопрос: каково же значение русских слов *гражданин, общество*?

В.В. Виноградов выделяет три метода передачи западноевропейских понятий в русском языке XVIII в.: метод описания значений (*geste* – телесное мановение), метод калькирования (*réalité* – вещьность) и метод «семантического приноравливания» [Виноградов 1982: 166-169]. В случае с парой *société-общество* речь идет, конечно, о третьем типе генерации понятия средствами лексической системы языка. Поскольку слово в системе данного языка не существует отдельно от других слов и не может быть воспринято носителями изолированно от контекстуальных сопряжений, закрепившихся в узусе,

невозможно в точности повторить выражаемое словом другого языка. «Приноравливание» заключается в пропорциональном отношении заведомо «предписанного» языком и творимого им. Так, слово *общество* «предписывает» различать в понятии смысл равенства, положенного в отношении, которое может составить нечто в количестве >1 , и оказывается способным «творить» бесконечное количество понятий о том, что может быть «общим». Напротив, слово *société* – «этимологически синоним «союза» (ср. лат. *socio*) – означает лишь соположение двух равноправных индивидов» [Spector 2000: 15]. Каким же образом одно слово может быть «переводом» другого, когда их глубинные семантические структуры абсолютно зеркальны?

Здесь наблюдаем то, о чем Р. Козеллек писал: «Семантика покровительствует именно определенным способам организации идей и опыта. Любой языковой акт зависит от воспроизводимости семантики. Этот фундаментальный факт конституирует темпоральную внутреннюю структуру в каждом из употребляемых нами понятий» [Козеллек 2010: 28].

Ярким примером лингвистического эксперимента является текст «Путешествия из Петербурга в Москву» (1790), где едва ли не все ключевые понятия выражаются образованиями с корнем *-общ-*. Ср.: *общество* – *гражданское сожитие*, *общники* – *сограждане нам равные*, *общжитие* – *сожитие*, *общественные законоположения* [Радищев 1981: 107-110]. Осмысление гражданина как *общника* делает акцент на смысле «индивид+индивид», то есть подчеркивается активность участников ситуации «общества».

Это языковое *созидание* действительности входит в конфликт с существующей и *отраженной* в языке дискурса власти модели «гражданин-общество», в которой нет индивида-общника, а есть всеобщее уравнивание в подчинении.

Две оси социально-политического дискурса характеризуются различным словарным составом. В официальном языке представлены синонимичные

лексемы (*подданные-граждане-народ-люди*), которые являются, фактически, омонимами по отношению к лексемам «неофициального дискурса» (*подданный vs гражданин*). Совпадая в общей противопоставленности значениям официального дискурса, значения одних и тех же слов рознятся в системах отдельных «идиолектов» политических мыслителей эпохи. Однако приблизительно с конца XVIII в. наблюдается общий процесс выделения таких слов, как *права, закон, долг*⁵², *гражданин, общество*, устранение политически нейтрального значения и поиск смыслов, отвечающих «запросам» интеллектуалов.

Так, слово *гражданин* выносится в заголовок статей и сопровождается эпитетами, характеризующими национальную идентичность: *Ответ гражданина* (М.М. Щербатов, 1790), *Мнение русского гражданина* (Н.М. Карамзин, 1819), обуславливает или формирует предмет письменного рассуждения: *Ныне нет ни одного Российского гражданина, который бы не чувствовал тягость сей войны* (М.М. Щербатов, *О Турецкой войне*), *Достоин ли я был имени гражданина России?* (Н.М. Карамзин, *Для потомства*, 1821). Выведение *гражданина* из синонимического ряда *граждане-мещане-подданные* осуществляется через приписывание этой номинации государю: *Вспомни твои слова...что «величайшая моя слава быть первым гражданином народа прямо свободного»* (М.М. Щербатов, *Речь...*, 1789).

В политических проектах декабристов слова *гражданин* и *общество* становятся узловыми. Примечательно, что в каждом отдельном проекте центральное место занимает слово-понятие, вокруг которого формируется «идеология» документа. Так, в «Конституционном проекте» Н.М. Муравьева (1825) ключевым является слово *гражданин* – это проявляется в четких дефинициях (*Граждане суть жители Российского государства, которым предоставлены права Гражданства*), субстантив *Русский* (синоним *гражданина*), терминологический неологизм *русский негражданин* (не

⁵² См. об этом [Тимофеев 2011].

получивший права гражданства – в силу возраста, экономического ценза и т.д.). В «Русской правде» П.И. Пестеля (1825), напротив, центральная роль отведена понятию общества (и это, в сущности, первый документ, в котором понятийное содержание этого слова ставится во главу угла): *Всякое достижение нескольких человек для достижения какой-либо цели называется обществом. Слово гражданин (суть чиновные особы и вместе с тем Российские граждане) встречается в документе реже, чем номинации человек, член, люди, российские обитатели, сыны отечества. В прозе Н. Бестужева, относящейся к этому же периоду (1820-е), эти слова составляют единый смысловой комплекс (Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества?).*

Следует отметить, что расхождение официальной и неофициальной линий политического дискурса не абсолютно. Однако точки их пересечения единичны, и характерно, что те официальные документы, в которых социально-политические термины получают «прогрессивную» трактовку, чаще всего остаются необнародованными. К таковым относится проект Н.Н. Новосильцева «Государственная уставная грамота Российской империи» (1820), где, судя по всему, впервые в официальном языке действие закона распространяется на субъекта права (а не на физического жителя территории): «Закон, без всякого различия, покровительствует равно всем гражданам». Ср. во «Введении к уложению государственных законов» М.М. Сперанского (1809): «Законы существуют для пользы и безопасности людей им подвластных».

Глава 4

Темпоральная семантика слова *гражданин*

§1. Уравнение с двумя неизвестными.

«Слово *гражданин* часто употреблялось применительно к истории античного мира, обозначая граждан – свободных членов римских городов-полисов, в отличие от бесправных рабов, - отмечает В.В. Веселитский - Слово *гражданин* получало известное социальное наполнение, хотя при этом последнее тесно переплеталось с общим значением слова – ‘житель города, горожанин’» [Веселитский 1966: 36-37].

Это замечание воспринимается сегодня как общее место и самоочевидный факт: действительно, достаточно открыть «Словарь языка XVIIIв.», чтобы убедиться, что часть примеров (и большая) отсылает именно к понятию римского “гражданина” (это, в основном, переводная литература), а другая часть примеров обозначает “горожанина”⁵³. Хорошо известны и отдельные примеры употреблений, традиционно связываемых с «зарождением» социально-политического значения. На такие примеры в языке А.Д. Кантемира указывает и В.В. Веселитский⁵⁴.

В недавнем обширном исследовании по истории понятий, Д.В. Тимофеев для XVIII в. прослеживает историю понятия *гражданин* от перевода книги Пуфендорфа, выполненного по инициативе Петра I до «Наказа» Екатерины II⁵⁵. Складывается аналогичная картина, согласно которой присутствие социально-политической семантики градуально, и оно последовательно возрастает на протяжении XVIII столетия (заведомо «обреченное» слово все более

⁵³ Ср.: «Великое людеи множество от отечества изгнанное, в городах Голландских засели, и оныя великим гражданов числом умножили». Пуф. Ист. 1718; «Богатство, казне принадлежащее, есть токмо средство, и часто худо понимаемое, содержать частных граждан <фр. ориг. les particuliers> в мире и изобилии». Руссо; и др. (Примеры даны в упрощенной орфографии). Цит. по: <http://feb-web.ru/feb/sl18/slov-abc/> (02.12.2014).

⁵⁴ «Все, что я пишу – пишу по должности гражданина, отбивая все то, что согражданам моим вредно быть может» (Кантемир А.Д. Сатира II, 1 ред., предисл.); «Сколько бы большее число было благонравных граждан, если б всякую нашу шалость ответственность были должны наши воспитатели» (Кантемир А.Д. Сатира VII, примеч.). Цит. по [Веселитский 1966: 38].

⁵⁵ См. об этом [Тимофеев 2011: 74-123].

«насыщается» семантикой социально-политического понятия, которое предполагается априори определённым, инвариантным в концептуальных системах разных языков).

Однако понять нечто о том, что, когда и почему означало слово *гражданин*, возможно только решая уравнение с двумя неизвестными: с понятием X и лексическим значением слова Y. В этом уравнении есть две переменные: русский и церковнославянский варианты (*горожанин* и *гражданин*).

Слово *гражданин* (варианты *граженин*, *гражанин*) встречается переводных и оригинальных старославянских памятниках и спорадически в древнерусских, *горожанин* – в оригинальных древнерусских⁵⁶. Рассматривая контексты употребления этих слов И.С. Улуханов последовательно выявляет контексты, где слово обозначает жителя города или жителя страны [Улуханов 2012: 246-249]. Некоторые примеры контекстно толкуются в социально-политическом ключе («подчиненные люди, обладающие определенными правами», «гражданское начало» [там же: 246]). Однако выделение этих значений остается на уровне интерпретации конкретного случая, и объясняются самим И.С. Улухановым переводным характером текста, что не проливает свет на семантику слова *гражданин*, вне связи с греческим *polites*. Вывод, к которому приходит исследователь таков: «Употребление слова *гражанинь* в оригинальных памятниках отличается от его употребления в переводных. Повидимому, живая речь и связанное с ней разговорно-литературное койне XI-XIV вв. не знали слова *гражанинь* в значении ‘житель страны, подданный’. Живая речь, возможно, вообще не знала этого слова» [там же: 246]. Одновременно И.С. Улуханов замечает, что выбор между *горожанинь* и *гражанинь* часто оказывается контекстуально обусловлен: «Наблюдается явная зависимость от употребления слов *город-градъ* в непосредственно предшествующем контексте» [там же]. Фактически речь идет не о разных значениях двух слов, а о

⁵⁶ Это соотношение не является абсолютным. Это отмечает И.С. Улуханов, а конкретные (единичные) случаи нарушения этого соотношения прослеживаются в недавно вышедшей работе [Лукин 2014].

«дистрибутивном» функционировании двух форм, наподобие ситуации диглоссии⁵⁷.

Т.Н. Кандаурова для периода XI - к. XVI вв. выделяет два типа соотношений полногласных (ПГ) и неполногласных (НПГ) форм: 1. ПГ и НПГ тождественны по значению, но различны по функционально-стилистическому параметру (форма выбирается в зависимости от предмета речи – «возвышенного» или «бытового»); 2а. ПГ форма обозначает понятие, НПГ – как общее понятие, так и конкретный референт; 2б. НПГ > ПГ по семантическому объему. НПГ форма обладает «дополнительным семантическим элементом «даже для тождественного с ПГ значением» [Кандаурова 1967: 377]. Так, например, *град* может обозначать как русским, так и чужим, иностранным, а *город* – только русским (ср. в топонимах: Белгород, Вышгород и др.)

Со второй половины XVII в. ситуация меняется: «Усвоение новому законодательству культурного статуса, выразившегося в его уподоблении законодательным актам византийских императоров и в прямом заимствовании ряда византийских норм <...> Деловой язык...подвергался сознательной архаизации и славянизации; такая сознательная славянизация свидетельствует о новой культурной значимости Уложения» [Живов 2002: 244].

Итак, «предпочтение» славянизма русизму в юридических текстах с конца XVII в. отражает процесс соединения правовой сферы с культурной, что означает, с одной стороны, придание юридической практике «идеологического веса» (то есть значения в большей степени обобщенно-абстрактного, нежели у конкретного «случая» судебной практики в древнерусских текстах). С другой стороны, «юридическое сознание переносит на [новое право] атрибуты культурного права, как оно понималось в России. Основной атрибут культурного права – его недействительность» [там же: 256].

Таким образом, сам факт функционального различения русской и славянской форм и связанной с этим специфики культурного сознания, для

⁵⁷ О концепции диглоссии в языке русского права см. [Живов 2002: 187-290].

которого в законодательно-юридической практике преобладает идеологическое (а не прагматическое) значения, предопределил расхождение вариантов *гражданин* и *горожанин* как двух разных лексических единиц (Ср. англ. citizen, фр. citoyen, ит. cittadino и др.).

Вернемся к приведенному в предыдущей главе выводу Е.Н. Марасиновой об изменении значения слова *гражданин*: «Теряя свое первоначальное значение «горожанин», [понятие *гражданин*] наполнялось исключительно государственно-правовым или нравственно-этическим смыслом и не отягощалось этимологической связью с наименованием класса «буржуа» [Марасинова 2008а: 108]. Если для историка эта формулировка является ответом на вопрос о значении исследуемого понятия, то с точки зрения лингвистического интереса она, напротив, лишь поднимает целый ряд значимых вопросов и вызывает несколько принципиальных возражений.

Во-первых, «теряло» ли что-то слово *гражданин* – вопрос открытый и могущий быть решенным отрицательно (слово не пережило никакого «запрета» на обозначение жителя города). Во-вторых, действительно ли оно не «отягощалось» значением ‘буржуа’ (или «третьего чина») в общем и целом, мы не знаем (ведь мы исходим из того, что понятие – неизвестное У); об этом можно судить лишь для конкретных текстов. В-третьих, то, что слово наполнялось «исключительно» политическим и/или нравственным значением, не может быть оценено как некая ущербность. Вне всякой оценочности это наблюдение обнаруживает существеннейший признак русского концепта *гражданин* (что проявляется позже в языке декабристов), который должен быть рассмотрен отдельно (см. §6).

§2. Позиция правового субъекта и адресат дискурса власти.

В отличие от ситуации, описанной В.М. Живовым, при которой церковнославянский и русский варианты обслуживали два «разных» права, а впоследствии славянизмы стали вытеснять русизмы на уровне терминологии, пара *горожанин-гражданин* не функционировала в законодательных текстах.

Это объясняется отсутствием семантической позиции правового субъекта в древнерусских законодательных текстах. Участники правовой ситуации, по-видимому, вплоть до «Уложения» 1649 г. не мыслились как абстрактные участники типической, а не единичной, ситуации, и средства их номинации преимущественно синтаксические, а не лексические. Ср. типичные средства номинации до «Соборного Уложения»⁵⁸:

Русская правда

Оже будет убил...то тако ему платити верви вирую
аже будет во едином городе, то ити истьцю до конца того свода
Аже кто убьет княжа мужа, а головника не ищют, то виревную платити, в чьей же верви голова лежит
Аще будет на кого поклепная вира... аже свержет виру, ударит мечом
А придет кровав муж..то видока ему не искати, но платити ему продажу 3 гривны
Паки ли будет что татебно купил...то выведет свободна мужа
Послухов ли не будет, а будет кун 3 гривны, то ити ему про свое куны роте Продаст ли господин закупа обель...то господину за обиду платити 12 гривен

Псковская судная грамота

А которому посаднику сести на посадничество, ино тому посаднику крест целовати
А коли будет с кем суд о земли...ино тому исцю схслатся на сосед человека на 4 или 5
А которой истець...ино того человека повинити...а правому человеку на ту землю и судница дати
А кто положит доску на мрътваго...
А где учинится бой у торгу...
А которой человек поручится на друга в серебре, а тот человек сочит на поручнике своего серебра...ино тая порядня повинить
А такоже, кто купил на торгу, а у кого купил, не знает его, а людем будет добрым ведомом, а у него имаются человек 4...ино ему правда дати

Судебник 1497

Судите суд бояром и околичим
А побияются на поли в пожеге...ино на убитом исцево доправити

⁵⁸ Здесь и далее без специальных указаний цит. по: Титов Ю.П. (ред.). Хрестоматия по истории государства и права России. М., 2013.

А каков жалобник к боярину приидет...а давати всем жалобником управа в всем

А государскому убойце...живота не дати, казнити

Судебник 1550

А которые люди А кто възыщет человекех по жалобнице...а те два за себя и за иных товарищев отвечают
--

Наместничие люди волостелиные люди городские люди волостные люди люди волные
--

В «Уложении» система социально-административной иерархии вырисовывается гораздо более отчетливо, получая лексическое выражение. Показательно, однако, что элементом, несущим дифференцирующий признак, является атрибут, а базовым (константным) элементом термина является слово *люди*⁵⁹. Так, различаются следующие типы «людей»: *Приказные, ратные, имянитые, городовые посадские, обыскные, служилые, всяких чинов, воинские, приезжие городовые тяглые/торговые, посадские черные мастеровые, русские (VS иноземские, некрещенные)*. «Человек» же может быть *имяной и прожиточный, мастеровый, русский (VS иноземец)*.

Такая структура термина («атрибут + *люди/человек*») отвечает дескриптивному характеру юридическо-правовой ситуации, участники которой не имеют «внеситуативного» статуса.

Более существенным здесь представляется тот факт, что названные термины не образуют диалогической структуры, то есть выступают исключительно как предмет – назовем условно – дискурса власти, но не как участники данной коммуникативной ситуации. Это означает, что (уже исключительно по структурно-текстовым критериям) они не могут выступить в

⁵⁹ Ср.: Ц.-сл. *людие* в знач. «народ (избранный или Божий народ пртвп. **языкомь** языческим народам)» [Седакова 2005: 173]. *Людие* соответствует греч. *laos* [Срезневский 1912: 1642], *языкы* – греч. *ethnos* [там же].

роли того, что может быть названо «правовым субъектом». Следовательно, позиция правового субъекта может появиться только одновременно с лингвистической перестройкой коммуникативной рамки текста.

Вероятно, именно этот процесс мы наблюдаем в тексте «Регламента или устава главного магистрата» (1721 г.) Петра I.

§3. Гражданин-горожанин в государственно-правовых актах XVIII в.

Всю совокупность слов с корнем *-град-/-гражд-* в тексте «Регламента» можно разделить на два типа употреблений, которые условно назовем «терминологизированным» и «этимологическим». В соответствии с последним единый синонимический ряд составляют такие номинации: *градские жители, гражданские жители, градские люди, гражданин, мещанин*. В соответствии с первым типом выстраивается следующая терминологическая система (в скобках представлены контекстуальные синонимы):

Люди (подданные, слуги, рабы) разделяются на градских людей (обывателей, жителей) и духовенство. Градские люди делятся на граждан, подлых людей, иностранных. Граждане далее подразделяются на первостепенных граждан (знатные граждане, 1 гильдия) и регулярное гражданство (подлое гражданство, 2 гильдия) [ПСЗ: VI, № 3708.].

Наиболее общая классификация предполагает деление на «гражданство» и «иных чинов людей».

Очевидно, что изначально базовым термином классификации является слово *люди* (и в этом продолжается терминологическая традиция «Уложения»). На первом уровне противопоставления (*градские люди / люди*) образуется своего рода привативная оппозиция, дифференциальный признак – сема, выражаемая корнем *град*. На втором уровне противопоставления (*граждане–подлые люди*) сема, образовавшая привативную оппозицию, получает «монополию на термин», вследствие чего его материальная оболочка изменяется (*граждане*). На третьем уровне противопоставления (*знатные граждане / подлое гражданство*) базовый

термин классификации – *граждане*, а *люди* не получают дальнейшей дифференциации. Именно базовый термин образует собирательную номинацию «гражданство».

Существенный сдвиг в структурно-коммуникативном аспекте текста состоит в «обретении» адресата в самом тексте. Этот вывод исходит из выявления двух моделей отношений «власть-подданные», выражающихся дистрибуцией и характером сочетаемости слова *гражданин*. Ср.:

Модель 1: власть – подданные ('обязанности')

Поборы	с граждан	<i>экономич.</i>
Сборы		
Судити	граждан	<i>юридич.</i>
Службы	гражданские	<i>политич.</i>
Начальство	гражданское	<i>социальн.</i>
Порядки	гражданские	

Модель 2: подданные - власть ('права')

Записаться	в гражданство
Польза	гражданская
Права	гражданские

Из сочетаемости, представленной в Модели-1 можно сделать вывод о том, что, в сущности, термин *гражданин* – речь не о том абстрактном социально-политическом термине, который должен в какой-то момент «появиться», а о конкретном, формирующемся в композиции текста «Регламента» - это термин, сочетающий в себе экономический, юридический, политический, социальный параметры. Фактически названные параметры позволяют интерпретировать термин *гражданин* как термин «третьего чина», на «поиск» которого было направлено немало усилий публицистики конца XVIII в.

Та совокупность текстовых, смысловых связей, сочетаемости, которая присутствовала при «рождении» термина *гражданин*, имеет, думается, достаточно высокую степень устойчивости. Политический, социальный, административный субъект, который был назван этим словом, являлся

участником множества конкретных ситуаций, подвергающихся законодательной регламентации. Ср.: «Что до градского суда...не надлежит ни гражданскому, ни военному начальнику, гражданина к своему суду [в канцелярию] позывать; но подлежит на такого...в Магистрате бить челом, и по гражданским правам у гражданского начальства суда на него искать»[там же: 300], «требовать от Юстиц-коллегии каждому Магистрату гражданских прав, по которым Магистрату судные дела отправлять надлежит, потом обстоятельные ведомости собрать (к сочинению купеческих уставов и прав гражданских), також разделение в гражданских нациях цехами определить» [там же: 303]. Из контекста ясно, что «права гражданские» - не что иное, как некий набор правил, инструкций, очевидно, имеющих конкретное приложение в повседневной практике. Поэтому нельзя считать, что тот *гражданин*, который существует в тексте «Регламента», не получает совсем никакого узуального закрепления. Однако такое «узуальное закрепление» было довольно скоро вытеснено совсем иным.

Следующий после «Регламента» официальный текст, имеющий значительное распространение, это «Грамота городам» Екатерины II (1785). Логично было бы ожидать какой-то степени корреляции с предшествующей терминологической системой. Ее специфика заключается, как отмечалось выше, в том, что она появляется одновременно с позицией адресата во внутритекстовой коммуникативной структуре. Адресат в коммуникативной рамке текста и становится «вакантной позицией» правового субъекта, для номинации которого используется церковнославянизм. В «Грамоте городам» разительным контрастом выступает обилие лексем с полногласной формой корня и отсутствие какой бы то ни было «монополии» неполногласной формы на статус термина. Так, представлены следующие лексемы:

<i>Городовые</i>	доходы
<i>Городовая</i>	обывательская книга
<i>Городовая</i>	(мещанская) выгода
<i>Городовой</i>	обывательский список
<i>Городская</i>	дума

<i>Городское</i>	общество
<i>Городские (-ая)</i>	службы (-а)
<i>Городской</i>	глава
<i>Гражданская</i>	служба
<i>Гражданские</i>	дела
<i>Градское</i>	общество
<i>Градские</i>	свидетели
<i>Градский</i>	суд

Терминологическим статусом обладают только два словосочетания: *общество градское* и *городовая обывательская книга* (они выступают как цельные единицы с фиксированным порядком слов).

Семантический объем слова *гражданин* сужается вхождением в синонимический ряд: *граждане городов – обыватели – обитатели города – городовые обитатели – городовые мещане*. Здесь наблюдается полный разрыв традицией употребления, которая должна была идти от «Регламента» Петра I. Термином «третьего чина» становится составное «городовые обитатели среднего рода люди», а терминологическая пара *гражданин-гражданство*, имеющая в тексте «Регламента» системный смысл теряет внутреннюю логику. Так *гражданство* – термин, покрывающий лишь тех «городских обывателей», которые среди «всякого гражданина» имеют собственность и записаны в городскую обывательскую книгу. Это *гражданство* неоднородно – один из его «классов» составляют «именитые граждане», где определяющим является экономический критерий.

Текст «Грамоты» во многом возвращается к типологии дескриптивных текстов без формально выражаемой внутренней коммуникативной рамки, вследствие чего *гражданин*, фактически, теряет понятийное содержание, которое делало его элементом терминологической системы. Кроме того, позиция правового субъекта, или адресата «дискурса власти» снова становится невостребованной – по крайней мере, такая установка исходит от структуры и

лингвистического содержания текста. Это проявляется особенно ясно в контекстах, эксплицирующих отношение *общества градского* и *гражданина*. Так, возможно «исключить из общества градского гражданина». Учитывая, что *общество градское* имеет терминологический статус (содержание его внеситуативно), смысловое наполнение слова *гражданин* напрямую зависит от того, «исключен» он из градского общества, или нет. В первом случае у слова появляется понятийное содержание (элемент административно-социальной, правовой структуры), во втором – этого содержания нет. Ср. также подобные контексты: «Да не взыщется в обществе градском личное преступление гражданина»: *гражданин* входит в *градское общество* только своей общественной, публичной стороной. Если бы слово *гражданин* обладало понятийным содержанием, такое уточнение было бы избыточным.

§4. Гражданин в неофициальном дискурсе второй половины XVIII в.

Вышеописанная ситуация (терминологизация слова в тексте «Регламента», и потеря понятийного содержания в «Грамоте городам») является источником семантической нестабильности и приводит к своего рода «семиотическому расшатыванию» языковой единицы (нестабильность отношения код-сообщение). Эта нестабильность подлежала устранению. Возможности к этому предоставила публицистика последней трети XVIII в. Новая ситуация связана с тем, что слово *гражданин* становится предметом рефлексии, в том числе метаязыковой. При этом само слово не являлось по умолчанию приоритетным направлением рефлексии. (Так, у А.Н. Радищева равноправными «кандидатами» на устранение семантической нестабильности являются слова *общник* и *сочлен*). Это означает, что слово *гражданин* оказывается в ситуации *grand questionnement*, когда о дальнейшей судьбе данной языковой единицы ничего не может быть известно априори. Для исследователя здесь спрятан определенный источник азарта, когда материал можно «разыграть» в виде задачи «дано» и «найти». Найти в таком случае требуется

лексическое значение исследуемой языковой единицы, но достаточно ли для этого того, что «дано», предстоит выяснить.

«Данным» можно считать следующее: значения, сложившиеся в узусе, определяемые в целом двумя узловыми законодательными текстами Петра I и Екатерины II. Одновременно нельзя не учитывать и смысл, содержащийся в самом факте выбора неполногласной формы. Этот смысл условно можно обозначить как стилистический, подразумевая, что он задает точку зрения на предмет и диктует некое отношение к нему. Эта точка зрения предполагает дистанцию от предмета речи, отвлечение от референта в пользу денотата. Наконец нельзя не заметить, что *гражданин* выступает как интертекстуальный знак и коннотативно передает смыслы, присущие семантике фр. *citoyen*. Этот параметр тем более специфичен, что объем коннотативно передаваемой информации прямо пропорционален степени диффузности границы между стилистическими смыслами ‘русскоязычие’ и ‘франкоязычие’⁶⁰ в языковом сознании авторов статей и их (потенциальных) адресатов. Так, отсылка к «женевскому гражданину» может исчерпываться прочтением имени Ж.-Ж. Руссо, а может декодировать целую полемику, развернувшуюся во Франции вокруг нового значения слова в выражении «*citoyen de Genève*» (и отраженную, например, в толковых словарях⁶¹). Представим сказанное в таблице⁶²:

Содержание	Значение	примеры
узуальная семантика	административный термин «экономический ценз»;	<i>прежде сего купец третьей гильдии, а ныне имянитой гражданин; записаться в имянитые граждане.</i>

⁶⁰ Классификацию стилистических смыслов в концепции О.Г. Ревзиной см., в частности: *Ревзина О.Г.* Некоторые вопросы и некоторые ответы к экзамену по стилистике, available at: <http://danefae.org/lib/ogrevzina/> (02.12.2014)

⁶¹ См. об этом: [Branca-Rosoff 1988].

⁶² Примеры из сочинений А.А. Радищева, Д.И. Фонвизина, Н.И. Новикова.

	горожанин	<i>отъмелют они всякое ободрение от граждан всех своих прочих городов; Города почувствуют властнодержавную десницу разрушения. Чуждо будет гражданам ремесло.</i>
	житель (страны)	<i>тогда престол царский...сокрушится; Тогда Владыка народов почтется простым гражданином; Рожденный быть простым гражданином, стал он великим человеком; принужден он был просвещаться как последний гражданин; Чтоб...не почли умножение граждан за малый предмет в столь великом государстве.</i>
<стилистич.значение>	актуализация внутренней формы	<i>люди всех земель и всех веков подчинены единому законодательству. Они все суть сограждане единого града; сей град есть вселенная.</i>
интертекстуальное значение	коннотации фр.citoyen	<i>все под <u>знаменитым</u> именем гражданина предстоять должествуют; И так вопреки <u>Женевскому гражданину</u> познаем в Петре мужа необыкновеннаго.</i>

Кроме этих статичных данных («область опыта»), существуют функциональные данные (создающие «горизонт ожидания») о семантике слова, само наличие которых показывает, что существующий «запрос» на смысл не может быть реализован в рамках слова, и поэтому отдельные элементы значения (семы) выносятся в синтагму (сочетаемость).

Можно выделить следующие модели семантической структуры слова *гражданин* (знаком «_» обозначена позиция лексемы *гражданин*):

Модель	Пример
каузативная <стать>_	<i>Восстановление <земледельца> во звание гражданина; Родившись в свет вы стали граждане общества, в коем живете; Но он <человек>...становится послушен велениям себе подобнаго, словом становится гражданином;</i>

	<i>Ибо гражданин, становясь гражданином, неперестает быть человеком, коего первая обязанность из сложения его производящая, есть собственная сохранность.</i>
модальная _ <должен делать>	<i>Яко часть общества должен ты сделать все то, что полезно человека...отсюда истекают должности гражданина; Недостоин носить имя гражданина; ...звание гражданина, коего душа должна быть благородна; мыслит как гражданин; усердие добрых граждан к государям своим.</i>
атрибутивная <какой>_	<i>Гордые граждане (негативн.); мужество граждан; полезный и добродетельный гражданин; бесполезные граждане; я пребыл добрый гражданин; скажи о истинный гражданин!</i>
антонимическая _ VS ant.	<i>Где же произвол одного есть закон верховный, там есть подданные, но нет граждан; Коварство, пронырство...могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи.</i>

Изолированные употребления без характеризующего атрибута, «постулируют» семантику слова как полноценную. Сравним следующие два типа употребления (изолированное и с атрибутом):

(А) *Принудить граждан поступать только сходственно с намерениями законоположника*

(В) *Коварство, пронырство...могут сделать отличного министра, но доброго гражданина николи*

В примере (А) никакие семы лексемы *гражданин* не вынесены в синтагму, слово находится в позиции субъекта в предложении, где роль агенса приписана *законоположнику*. *Гражданин* здесь – семантическая роль, соответствующая валентности адресата (задаваемой предикативным именем: *законоположник* – ‘тот, кто создает закон’). Здесь не идет речь о понятийном содержании лексемы, а о ее способности исполнять определенную семантическую роль в определенном типе дискурса (правовой дискурс, субъект этого дискурса).

В примере (В) – ровно наоборот: слово обнаруживает семантическую недостаточность, в связи с чем существенные элементы значения выносятся в

синтагму (антонимический ряд *министр-гражданин*, атрибут *добрый*), входит в конструкцию с каузальной семантикой («сделать»). Все это насыщает слово понятийным содержанием, создавая вокруг него определенный «концептуальный ореол», акцент здесь на динамике становления смысла.

Как возможен тип А (семантика «умещается» в слове и не требует экспликации)? Если мы вернемся к тому, что было вынесено в «дано», то увидим, что единственное тому объяснение – интертекстуальность. «Первичная техника интертекстуальности - это техника повтора, но сам по себе повтор интертекстуальности не создает <...> Интертекстуальный повтор связан с высказыванием, то есть он предполагает акт референции. Тем самым высказывание помещается в дискурс <...> в пространстве дискурса высказывание наделяется совершенно новыми - интертекстуальными связями и новыми функциями» [Ревзина 2004, URL]. Таким образом, если слово *гражданин* способно выступать в роли языковой единицы типа А, то это возможно потому, что такое употребление русского слова *повторяет* употребление французского слова, воспроизводя в дискурсе соответствующий акт референции (правовая сфера).

Вырисовывается в некоторой степени парадоксальная картина: в ответ на наш вопрос о лексической семантике слова *гражданин* единицы типа А отсылают к концепту-источнику интертекстуальности (*citoyen*), единицы типа В отсылают к контекстному окружению. Парадоксальность состоит в том, что к слову, стабильно входящему в лексический состав русского языка, подлежащего на протяжении этой истории различным словарным дефинициям и не вызывающему сомнений исследователя в том, что оно обладает определенной семантикой (вопрос только – какой), - к этому слову оказываются применимы характеристики шифтеров, которые Р. Якобсон назвал «индексными символами» [Якобсон 1972: 97]. «Общее значение шифтеров не может быть определено без ссылки на сообщение» [там же], однако «каждый шифтер имеет свое... значение» [там же: 98].

§5. *Государь и гражданин* в философско-политическом дискурсе второй половины XVIII в.

Шифтерность слова-понятия *гражданин* в языке «неофициального» дискурса, как мы помним, была спровоцирована с ситуацией «семиотического расшатывания», при котором отношение код-сообщение являлось перманентно нестабильным и требовало «урегулирования». В языке публицистики последней трети XVIII в. были вскрыты семантический потенциал слова, однако сама ситуация противопоставленности «официальной» и «неофициальной» осей способствовала ситуации колеблющегося (от полюса к полюсу) значения. Поразительным является то, что в этот же период времени работает еще одна «лаборатория» по «разработке» значения этого слова, на этот раз устраняющего противопоставление «осей». Речь идет о философском дискурсе последней трети XVIII – первого десятилетия XIX в. (сочинения М.М. Щербатова, Н.М. Карамзина). Отличительной чертой этого дискурса является то, что он оперирует обоими типами «словарей» (о которых речь шла в §1. Гл.3) – то есть словарем, в котором, например, *гражданин*, *мещанин*, *подданный*, *россиянин* являются синонимами, и словарем, где *гражданин* и *подданный* – антонимы, *гражданин* – *мещанин* входят в отношения непересечения, *гражданин* – *россиянин* – родовая номинация. Перерабатывая эти два словаря философский дискурс создает язык политико-правовых документов, где *гражданин* имеет терминологический статус (то есть от «официальной» оси берется тип текста, а от «неофициальной» содержательное наполнение понятия) – на этом языке написаны проекты декабристов (§6), этот язык – в основе формирующегося поэтического дискурса первой трети XIX в., в котором формируется то, что можно назвать русским концептом *гражданин* (§7).

Трехтомное собрание «Сочинения князя М.М. Щербатова» (изд. 1896-1898) содержит политические, философские, публицистические и административные (отчеты, записки, прошения) тексты 50-80х гг. XVIII в. В них контекстное значение слова *гражданин* варьируется от «исторического» («*Обагрена все земля кровию моих граждан*», - говорит Москва в «*Прошении*

Москвы о забвении ея») до «модерного» (*гражданин не <должен быть> лишен драгоценного права участвовать в законодательстве, долг гражданина*). Нулевая реализация представлена в контекстах, описывающих ситуации бесправия и/или не предполагающие активную позицию «адресата дискурса власти» (*Самовластие льет токи кровавые лучших своих подданных, Всех подданных власть присволяет противу закону*). Существенными «инновациями» здесь являются следующие две особенности:

- 1) *гражданин* выступает в роли отправителя сообщения (*ответ гражданина, <как> российский гражданин*). При этом слово сопровождается атрибутивными характеристиками, идентифицирующими *гражданина* как представителя определенной нации, как носителя нравственных характеристик, субъекта познания и эмоций:

<i>гражданин</i>	<i>Российский</i> (ср. у Карамзина: <i>мнение русского гражданина</i>) <i>любящий свое отечество</i> <i>чувствующий</i> <i>искренний</i> <i>добрый</i> <i>любопытствующий,</i> <i>{мыслящий}</i>
------------------	--

Суп.: искренний сын отечества

Ант.: я несмь законодатель, я емь простой гражданин

- 2) *Гражданин* входит в регулярные соположения со словом *государь*:

последний гражданин яко самый государь <имеет право...к блаженству>

*Государь, ты человек, наш соотчич, яко гражданину
блаженство отечества тебе должно любезно быть*

*<государь обещал> быть первым гражданином народа прямо
свободного*

Чтобы понять содержание этого второго изменения, нужно сравнить употребление слова *государь* в текстах второй половины XVIII в. (А.А. Радищев, Д.И. Фонвизин, Н.И. Новиков). Для этого составим две таблицы: Таблица 1 призвана отразить коммуникативную структуру текстов (контексты со словом *государь*), Таблица 2 - типичные пропозициональные структуры со словом *государь* в позиции субъекта действия.

субъект	предикативный центр	атрибут	{государь}/конт. синонимы/конт. антонимы
Благородные французы	лишаются		государя
-//-	имеют от избранной из достойных между собою фамилии	своих	государей
-//-	делают [всякого]	малыми	государями, подданными королю
-//-	зависят		<государя> /которого/
-//-	были в состоянии противиться		<государю> /ему/
-//-	были в состоянии воевать		против <государя> /его/
Сие французские господа	были обязаны присягать		королю
Французские дворяне	<имеют> любовь	к самодержавному	государю
<-//->	<жертвуют жизнью по повелению>		государя
Благородные	служат		государю
Он [Панин]	Не мог взирать [на ослепление очей]		государя и общества
Он [Панин]	приобрел почтение	от мудрого и просвещенного	монарха

-//-	-//-	от верного	России союзника
подданные	порабощены		государю
нация	принудила [кого] стать	ее	государем
<нация> /она/	не может существовать		без государя
нация	Облекает властью		<государя> /его/
нация	<жертвует> частью естественной своей воляности		
нация	вручила свое благо		<государю> /попечению государя/
нация	дала		<государю> все, что он сам имеет /он знает, что.../
дворянин	уверен, что можно служить [одним лишь только оружием]	своему	государю
МЫ (исключивн. 'люди')	любим	наших	государей
МЫ	хотим		чтоб были [государи] велики, сильны и двор имели великолепный
	признание [императорами]	российских	государей
	<вверяем верховную власть>		государю

левый контекст	{государь} / конт.синон имы	правый контекст	
	государь	жалует	дворянство (кому)
	государь	находит	добрых подданных
добрый	государь	чувствует	истину
	государь	<есть> подобие бога	

	государь	<должен> постановить в государстве своем /не может ознаменовать своего могущества, иначе, как постановя/	правила непреложные, основанные на благе общем
	государь	<находится в непрочном состоянии> /непрочно состояние государя/	без непреложных государственных законов
	государь	порабощен	недостойному своему любимцу
	<государь> /душа государя/	<находится под властью чудовища> /провидение попускает душою государя овладеть чудовищу/	
	государь	[без непреложных государственных законов] зиждет на песке	свои здания
	[государь]	думает истреблять вредные государству откупи	
	<государь>	не знает,	что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откупу
<не тот есть> самовластнейший	государь	<который> чае утвердить свое самовластие	на недостатке государственных законов
	[государь]	порабощен	одному или нескольким рабам своим
	[государь]	<есть> самодержец,	потому, что самого держат в кабале недостойные люди
	государь	должен знать все права своего величества	
<правый>	<государь>	<содержать права своего величества у своих подданных в почтении>	
<кроткий>	<государь>	<не должен преступить пределов... здравого рассудка>	
	государь	[не может существовать без нации]	
	государь	<имеет право делать всякие насильства>	

		<лучше не иметь никаких законов, нежели...такой, который дает государю право..>		
	[государь]	должен быть наполнен сею великою истиною,		что он установлен для государства и что собственное его благо от счастья его подданных долженствует быть неразлучно
	государь	есть душа правимого им общества		
	государь	<есть> душа политического тела		
	<государь>	отверзает слух на всякое внушение		уже истина его не просвещает
	-//-	отвращает <слух> от всяких представлений		
	[государь]	если не признает верховной власти [истины] над собою,		тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются
	[государь]	начинает бояться		тех, кто его ненавидит
просвещенный	государь	есть тем не больше человек		
	государь	родится умирает погрешает	как человек	
державшийся правоты и кротости просвещенный	государь	не поколеблется никогда в истинном своем величестве		
добрый	государь	добр для всех		
-//-	-//-	<уважает> не частную выгоду, а общую пользу		
[добрый]	[государь]	должен знать,		что государственным награждается одна заслуга государству, что неповинно оно платит за угождение его собственным страстям
-//	-//-	должен знать,		что отвечает за поведение тех, кому вручает дел правления

	государь	тщетно помыслил бы оправдаться	тем, что он сам перед отечеством невинен и что тем весь долг свой перед ним исполняет
	[государь]	сам себе должен [долгом невинности]	
	-//-	все еще остается должником государству	
	-//-	повинен отвечать [государству]	не только за дурно, но и за добро, которого не сделал
	-//-	должен знать,	что послабление пороку есть одобрение злодеяниям
	[государь]	ни о чем больше не думает, как о том, что он государь; иногда ни о чем больше, как о том, что он человек В первом случае походит он на худого человека, во втором бывает худым государем	
	государь	не должен забывать, что он человек, ни что он государь	
правоту наблюдающий	государь	исправляет всечасно пороки, утверждает добродетель	
кроткий <сердце его чисто, душа права, ум ясен>	государь	заставляет себя внутренно обожать	
горделивый	государь	[заставляет себя] наружно боготворить	
	государь	есть первый служитель государства	
	-//-	может жаловать почести частным людям, но самое нацию ничем пожаловать не может <ибо она дала ему все, что он сам имеет>	
просвещенный и добродетельный	монарх	начинает великое свое служение	немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных
<благонравный>	<государь>	образует благонравие народа	

	[государь]	став узнан своею нациею, становится тотчас образцом ее
	государь	<будучи> добрый муж, добрый отец, добрый хозяин, устрояет во всех домах внутреннее спокойство
любимый	государь	чего из подданных сделать не может?
Самодержавнейший из всех на свете государей		<есть> тот, кто более любим
	[но] государь	столь многих слуг не требует (в знач. «не нуждается»)
наши	государи	Имели бы 36 миллионов подданных [когда бы наш народ удвоился]
<при Марке Аврелии> [ни один бесчестный гражданин не дерзал промолвить, что]	государь	не подчинен законам

На этом относительно обширном материале можно видеть, что коммуникативная структура является эксплицитной (в тексте выражены и отправитель, и получатель) только в том случае, когда *государь* находится в синтаксической позиции объекта (роль пациенса, экспериенцера) – Таблица 1. В случае же, когда лексема помещена в позицию субъекта (семантическая роль агенса), коммуникативная рамка не выражена (или не выражена эксплицитно) – контексты демонстрируют выраженный предикативной центр (S-P), но направленность действия (объект) либо не выражена вообще, либо это действие направлено на объект (*постановлять правила непреложные*), а не адресата коммуникации. Иными словами, позиция правового субъекта (*гражданин*) не актуализована.

Таким образом, *государь* выступает как актер (*жалует, находит, чувствует, знает*), либо как выраженный адресат (*избирают государя, присягают государю, жертвую жизнью для государя* и пр.).

В приведенных же примерах из текстов Щербатова, не только *государь* и *гражданин* оказываются в тесном синтагматическом соположении, но

гражданин является предикацией по отношению к *государю*. И если в предикациях типа *будь добрым гражданином* (конструкции такого типа в табл. предыдущего параграфа), слово *гражданин* сообщало признаки субъекту (*X - настоящий гражданин* значит, что *X* обладает признаками *гражданина*, которые, как было показано выше, передавались коннотативно), то теперь *гражданин* перенимает признаки субъекта, предикатом которого является. Так, если *государь – первый гражданин*, то значит, *граждане* – это те же *государь*, но в меньшей степени (прототипическая категоризация типичного и периферийного представителя). Качества, которые переходят *гражданину* от *государя* – это качества актора, занимающего активную позицию в политико-правовом дискурсе. Ср. в связи с этим возрастающую частотность контекстуального соположения понятий *гражданин* и *закон*:

граждане и законы находятся часто в отдаленном сношении между собою

Монархия по закону хранит жизнь, честь, имение и спокойствие своих граждан

<если гос. налог справедлив> то законы любимы, почитаемы и точно исполняемы гражданами суть, ибо каждый гражданин находит собственную пользу их сохранять

3) Еще одна особенность, проявившаяся в философском дискурсе конца XVIII в. и которая позже получит развитие в поэтических текстах первой трети XIX в., это морально-этическая составляющая.

Ср. у Карамзина:

достоин ли я имени гражданина России? Любил ли отечество? Верил ли добродетели? Верил ли Богу?

сделаться добрыми людьми и полезными гражданами

Гражданское общество есть святыня для добрых граждан

У Щербатова:

*состояние гражданина, по имени своему христианина обязался верен
быть закону Господню
чтобы законы сочинялись многими **честными людьми** и чтобы
гражданин мог полезный совет дать
граждански мертвый человек, наказанный человек есть граждански
мертв*

Ср. также у Крылова:

<есть> честные люди и худые граждане

...как в благородном дворянине, так и в самом низком гражданине

4) Одновременно *гражданин* выступает как термин социальной структуризации в сочетаниях типа: *первый гражданин, последний* (в знач. 'самый бедный') *гражданин, простой гражданин* (М.М. Щербатов «Речь, каковую бы могли говорить шведские дворяне по взятии под стражу их собратьев», «Размышления о законодательстве вообще»). В приведенном выше примере из И.А. Крылова *благородный дворянин* и *низкий гражданин* противопоставлены в тексте, очевидно, по сословному критерию, и возможны две интерпретации значения этого слова: 1) 'простолюдин' 2) 'представители всех недворянских сословий'.

Не случайно мы назвали философский дискурс «лабораторией» (развивая известное сравнение Л.П. Якубинского): мы видим, что, с одной стороны, жесткое разграничение «официального» и «неофициального» языков снято, и с другой стороны значение слова *гражданин* остается в сильной степени значением дейктическим в том смысле, о котором писал Пауль: «Существуют отдельные слова, призванные обозначать нечто конкретное, но и эти слова сами по себе еще недостаточно конкретизированы; эту конкретизацию они обретают лишь в индивидуальном акте употребления» [Пауль 2014: 95]. Но вспомним теперь тезис Козеллека о том, что понятие «должно» оставаться многозначным, чтобы быть понятием: может быть, «шифтерность» в данном случае и сигнализирует о том, что мы наблюдаем процесс образования некоторого

концепта русского языка (а уже совсем не перевод правового термина на русский язык и не расподобление пары церковнославянизм-русизм)? Однако мы поставили перед собой задачу иного характера: прийти не от понятия к слову, а от слова – к понятию. Слово, по Козеллеку, «может становиться многозначным», тогда как понятие «должно» быть таковым. Но полисемия (о чем шла речь в Гл. 1, §4) – это и есть основной когнитивный механизм языкового расширения – такой, который и формирует языковое понятие (и о котором мы не в состоянии «узнать» никаким другим способом). «Значения языковых знаков (слов), - пишет Б.А. Успенский, - взаимосвязаны: в обычном случае каждое значение может быть описано с отсылкой к другим значениям» [Успенский 2012: 9]. «Дейктические слова, между тем, непосредственно относятся к акту коммуникации, и только опосредованным образом...они соотносятся с той реальностью (актуальной или виртуальной), которая является предметом коммуникации. Они не обладают независимым содержанием, полностью абстрагированным от акта коммуникации» [там ж: 12]. Эти характеристики чрезвычайно справедливы для тех явлений, которые мы могли наблюдать в отношении семантики слова *гражданин*. Однако до сих пор это слово не пережило «шлифовки» процессом терминологизации. Это невозможно в отношении «настоящих» дейктических слов (они становятся таковыми в процессе детерминологизации – например, когда ребенок перестает считать местоимение «я» своей номинацией). Но этот период семантической истории слова *гражданин* не может быть сведен к простой стадии «несформированности значения» и, ввиду этого, полной зависимости от контекста. Не вернее ли будет сказать, что слово, «добровольно» принимая на себя шифтерность, как бы «ищет» ту виртуальную (языковую) реальность, сигнификатом которой оно было бы «готово» стать? И вот «рассматриваемые варианты»: социальная структурация (сформированная в языке довольно слабо), роль реципиента-экспириенца в ситуации «законо-дательство» (мало подкреплено официальными текстами – где слово почти не встречается), наконец, сфера

морально-этической категоризации (широко представленной в русском языке и поддерживаемая соединением религиозного и политико-правового дискурсов).

§6. Политический термин: *гражданин* в проектах декабристов.

Слово *гражданин* получает терминологический статус в текстах декабристских проектов политического устройства. В «Конституционном проекте» Н.М. Муравьева (1825) это центральный термин: ему дается «нормирующее» определение, слово становится словообразовательной базой для других терминов документа – таких, как *русский негражданин*. Однако сам термин *гражданин* в тексте «Конституции» Муравьева появляется как дериват от термина *гражданство*: «Гражданство есть право участвовать в общественном управлении» [Конст.проекты России: 303]. И далее: «Граждане суть жители Российского государства, которым предоставлены права Гражданства» [там же]. Из такого определения следует, что, во-первых, *гражданин* – это носитель признака, выраженного в абстрактном (-ство) *гражданство*, во-вторых, деактуализована внутренняя форма слова («жители Российского государства»). Одновременно *гражданину* приписываются «необходимые и достаточные» признаками для образования одноименной категории: «Чтобы быть Гражданином, необходимы следующие условия: лета, местопребывание, здравие ума, личная независимость, исправность платежа общественных повинностей, непорочность перед лицом Закона, собственность отдельная на свое имя» [там же]. Эта категория осмысливается посредством «кинестетических образных схем» (Дж. Лакофф) – таких как ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ, ВМЕСТИЛИЩЕ. Так, первая из этих схем находит выражение в примерах типа: «Союзное Правление одно...удовлетворило всем условиями и согласило величие народа и свободу граждан» [там же]. Здесь, очевидно, слово *народ* ближе к фр. *nation*, означая государственно-политический способ единения, при котором «составляющими» являются «политические акторы», или граждане (Вспомним анализ Робен: «...если акцент ставится на слове «нация», то подчеркивается именно его

политическое значение и никогда – социальное. Слово «народ», напротив, «на все готово» и этой полисемичностью соединяет «собственно-буржуазный» и «народный» компоненты революции» [Robin 1970: 329]). Возможно и соединение двух когнитивных моделей (часть-целое, вместилище) – в терминологии Дж. Лакоффа – кластерная когнитивная модель. Это можно видеть в следующем примере: «Всякий природный житель Государства Российского, которые не был Гражданином – но достиг своими трудами...поступает немедленно в Граждане [там же]. *Гражданин* образует концептуальную область-вместилище (*вступить в Граждане*), одновременно эта область является частью целого – другой области-вместилища (*Государство Российское*). Другой признак «кластерности» когнитивной модели ГРАЖДАНИН – то, что она включает в себя и радиальную когнитивную модель. Особенность радиальной категории в том, что она может включать в себя такие частные варианты составляющих ее объектов, которые «не порождаются центральной моделью по общим правилам, но представляют собой ее конвенциональные расширения» [Лакофф 2003: 129]. Так, в концептуальное поле ГРАЖДАНИН могут входить ИНОСТРАНЦЫ – не входящие в категории НАРОД, ГОССУДАРСТВО РОССИЙСКОЕ: «Иностранец...имеет право испросить у Правительства право Гражданства» [Конст.проекты России: 304].

Политическая семантика слова *гражданин* в «Конституции» Муравьева проявляется также в устранении смыслов, связанных с сословной категоризацией: «Название однодворцев, мещан, дворян, Именитых Граждан заменяются все названием Гражданина или Русского» [там же 305]. Отношение тождества между номинациями *гражданин* и *русский* не являются абсолютными: эти два класса также образуют концептуальную схему ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ: «Право подавать свой голос при выборе некоторых местных властей...предоставляется каждому русскому негражданину» [там же: 308] – объект, таким образом, может входить в поле «русский» (A), но не входить в поле «гражданин» (a). При этом, если объект входит одновременно в (A) и в (a), то отношения между

номинациями *русский* и *гражданин* тождественны. Если же объект входит только в (А), то ему присваивается номинация *русский негражданин*. Области (А) и (а) составляют единую концептуальную схему (ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ), поскольку объекты, входящие в эти области называются одним словом (в утвердительном или отрицательном модусе).

В «Русской правде» П.И. Пестеля (1825) центральным термином является слово *общество* (об этом в Гл.5), термин *гражданин* появляется как производное от той концептуальной структуры, которую образовало слово *общество*. Фактически же в тексте «Русской правды» прежде появляется слово *гражданский*, относительно которого определяется семантика *гражданина*, но не наоборот. Первое употребление слова *гражданский* в тексте «Русской правды» таково: «Все здесь сказанное об обществах вообще относится равным образом и до Гражданских обществ, которые, будучи устроены и в порядок приведены, получают название Государства» [там же: 324]. *Общество-государство* в этом тексте – родо-видовая пара, а *государство* и *гражданское общество* – синонимичные номинации. Слово *гражданин* появляется впервые в последней части документа: «Все люди в Государстве должны составлять только одно Сословие, могущее называться гражданским, и что все граждане в Государстве должны иметь одни и те же права и быть перед Законом все равны» [там же: 378]. Из этого примера можно понять, что *гражданин* появляется в качестве составной единицы *государства*, определяемого как разновидность общества, тогда как номинация *гражданское общество* указывает на его «состав». В соответствии с этой же логикой образуется номинация *гражданское сословие* («состоящее из граждан»), но одновременно это означает и элиминирование идеи сословной структуризации по экономическому критерию – вводится критерий политический, и с этой точки зрения *сословие* и *гражданское общество* – синонимы.

Таким образом, слово *гражданин* каждый раз предстает как семантический дериват от центрального для того или иного текста понятия. Из

названных в предыдущем параграфе «возможностей» конкретизации дейктического значения слова *гражданин* - социальная структуризация, роль адресата политико-правового дискурса, сфера морально-этической категоризации – первая была отвергнута, вторая – реализована в названных проектах. Третья составляющая оказалась особенно значимой в формировании русского концепта *гражданин*.

§7. Моральный концепт: *гражданин* в литературном творчестве декабристов.

Как уже отмечалось, в языке декабристов устраняется четкое разграничение двух «осей» социально-политического языка: политические проекты, с одной стороны, создаются как официальные документы, и употребление анализируемых слов претендует в них на терминологический статус. С другой стороны, в качестве отправителя предстают не властные структуры, а отдельные языковые личности, что соединяет этот тип дискурса с неофициальным. В этом смысле процесс семантической динамики слова *гражданин*, наблюдаемый в политических проектах декабристов, продолжается в неофициальных текстах авторов декабристского поколения – мемуары, прозаические и поэтические тексты Н. Бестужева, Ф. Глинки, В. Кюхельбекера, М. Лунина, П. Катенина, В. Раевского, К. Рыльева и др. И если в политических проектах определение значения этого слова было направлено на его терминологизацию, то в «неофициальном языке» происходит концептуализация понятия, выражаемого этим русским словом.

Характерно, что *гражданин* обнаруживает невозможность перволичных конструкций *я, *гражданин*, *мы, *граждане*. Так, Н.А. Бестужев в воспоминаниях о «14 декабря 1825 года» инклюзивному «мы» ставит в соответствие такие номинации, как *солдаты, чернь, народ*, тогда как в повести «Шлиссельбургская крепость» все эти понятия «покрываются» номинацией *гражданин*: «Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества?» [Декабристы 1975: 284].

В воспоминаниях тех, кто не являлся участником восстания на Сенатской площади, слово *гражданин* в отношении декабристов не употреблено, видимо, ни разу. Ср.:

Из записок Николая I (1825)	Мятежники выстроены были в густой неправильной колонне спиной к старому Сенату
из письма А.Н. и Е.М. Олениных В.А. и Г.Н. Олениным (1825)	И эти варвары льстили себя управлять Россией! ...имена зачинщков неслыханного предприятия Государь...продолжал посылать переговорщиков для убеждения бунтующих ... бунтующие стояли твердо в своем заблуждении
из письма Н.М. Карамзина – И.И. Дмитриеву (1825)	Первые два выстрела рассеяли безумцев с «Полярную звездою», Бестужевым, Рылеевым и достойными их клеветрами ...вот нелепая трагедия наших безумных либералистов
из дневника П.Г. Дивова (14 декабря 1825 г.)	Около 200 человек заговорщиков убито
из письма М.Д. Нессельроде – Н.Д.Гурьеву (1825).	...эти сумасбродные головы

Такие характеристики вызывают аналогию с тем, в каких терминах Екатерина II пыталась осмыслить Французскую революцию. Английский историк Д. Гриффитс пишет: «Это положение вещей [Французская революция – Г.Д.] было настолько новым, что традиционные категории и терминология были не в состоянии его описать <...> Груз ошибочных предположений и отсутствие приемлемых аналогов лишали <императрицу> языка, с помощью которого она могла бы проанализировать и классифицировать французские события» [Гриффитс 2013: 135]. Так, первоначально Екатерина остановилась на слове *бунтовщики*. «Коннотации, свойственные этому русскому слову в XVIII столетии были вполне ясны: бунт был результатом действий недовольных, не имевших...никакой связной политической программы» [там же: 128]. Но это слово вскоре обнаружило свою неадекватность реальным событиям: «Ясно было, однако, что зачинщики французского “бунта” были горожанами, более того, парижанами, а не наивными крестьянами» [там же]. Следующее избранное Екатериной слово – *фанатики* (ср. в Таблице – *безумцы, сумасбродные головы*).

Этим словом императрица выделяла такие особенности поведения зачинщиков французских беспорядков: «сознательное отсутствие всякого уважение к установленному порядку, ревностное стремление к нереалистичным и недостижимым целям, приверженность этим целям, доходящим до готовности принести ради них в жертву самого себя (и других)» [там же: 129]. Все эти номинации оказались неудачными попытками осмыслить французские события: Екатерине «не было известно слово “революция” в его нынешнем значении – термин, который мог бы ей помочь встроить новые явления в действительную ценностную систему <...> Обеспокоенная тем, как перевести революцию в доступные ей понятийные термины, императрица тем не менее пала жертвой своих собственных лингвистических ограничений» [там же 137-138].

Эта аналогия не случайна: в «лингвистических диагнозах», которые ставили событиям 14 декабря современники, проявилось то, что значение слова *гражданин* оставалось неопределенным с точки зрения узуса и не позволяло охарактеризовать событие как проявление гражданственности⁶³. И подобно тому, как (по мысли Д. Гриффитса) Екатерина II в своих попытках осмысления Франции 1789 года оказалось «жертвой» ситуации несформированности концепта революции, современники событий 14 декабря 1825 года не располагали той «исторически сложившейся понятийно-языковой целостностью» [Шведова 2011: v], которой и является языковой концепт. Темпоральная структура слова *гражданин* (о которой шла речь в §4 настоящей главы), напомним, представляет собой полюса «область опыта» (значение типа А – политический термин, изначально образованный через механизм интертекстуальности) и «горизонт ожидания» (значение типа В – «семантическая недостаточность» слова, выражающаяся в процессе его концептуализации через вынесение значимых семантических компонентов в

⁶³ Здесь, безусловно, имеют место и экстралингвистические параметры – такие, как: политическая культура, политические воззрения отдельных лиц, высказывающихся по поводу событий 14 декабря. Имеет место и заведомо субъективная трактовка того, что значит быть «добрым гражданином»: выводить войска на площадь или добросовестно служить государству (о возможности бескровного изменения политического устройства России декабристами см. Архангельский 2006, Янов 2007).

синтагму). Темпоральная семантика слова *гражданин* заключается в «устремленности» его значения от А к В, иными словами – в тенденции формирования концепта *гражданин*.

Так, А. Е. Розен в «Записках декабриста» дает следующую оценку «антагонизму номинаций» участников восстания 14 декабря: «Время скоро сотрет наименование мятежников и верноподданных 14 декабря и соединит всех граждан для блага и для пользы общей» [Розен 1988: 99]. К.Ф. Рылеев ответил на это противопоставление (*мятежник vs верноподданный*) так: «Я служил отечеству, пока оно нуждалось в службе своих граждан, и не хотел продолжать ее, когда увидел, что буду служить только для прихотей самовластия» [Декабристы 1975: 312]. Здесь важно соположение слов *отечество* и *гражданин*, а также поссессивный маркер *свои* (*отечество нуждалось в своих гражданах*). Соединение *гражданина* и *отечества* привносит аффективные характеристики в понятие о гражданине, делая его субъектом эмоциональных, нравственных переживаний: Ср.: «Честный гражданин, лишенный своего отечества, умирает с печали, как рыба без воды» (Ф. Глинка) [там же: 98].

Другой значимый аспект концептуализации – представление *гражданина* как субъекта мыслительной деятельности. Это особенно характерно для текстов М.С. Лунина, для которого «политика заключается в глубине всех вопросов нравственных, ученых и литературных, и <нет такого закона, который бы> запрещал мыслить» [Лунин 1988: 17]. О противниках борьбы с крепостным правом, которые, однако, заботятся о хороших условиях их проживания, он пишет: «Они воображают, что вещественное благосостояние, доставляемое крепостным, достаточно уже вознаграждает их за потерю гражданских прав и за усыпление умственных способностей <...> Рабство, не совместное с духом времени, поддерживается только невежеством и составляет источник явных противоречий по мере того, как народы успевают на поприще гражданственности» [там же: 18-19]. «Ошибки не проходят даром в политике, - рассуждает Лунин, - ...впечатленные примером безмолвного повиновения, мы

утратили нравственную силу, отличающую человека и составляющую гражданина» [там же: 18]. В понятии о гражданине связываются такие категории, как нравственность, мышление, индивидуальность, и не просто бесправие, но элиминирование всех этих признаков называется рабством (противоположность – *гражданственность*).

Именно эта нравственная, этическая составляющая в составе понятия *гражданин* определила «горизонт ожидания» в его темпоральной структуре. Это ‘то, что ожидается от гражданина, но чем еще он не является’. Отсюда возникает противопоставление *гражданина* и *человека*: *гражданин* должен «доволотиться» в *человека*. Если Радищев, в период формирования «нового» понятия *гражданин*, призывал осознать катастрофичность той ситуации, при которой не все люди могут быть *гражданами*, то спустя тридцать лет В.К. Кюхельбекер, в «Европейских письмах» констатирует, что «купец, воин, гражданский чиновник, духовный...не только не были людьми, они даже не были гражданами» [Декабристы 1989: 169].

Поэтические тексты К. Рылеева, П. Катенина, Ф. Глинки, В. Раевского и др. имеют общие с публицистикой функции и задачи: генерация концептуального содержания политических терминов. Это происходит посредством создания терминологических неологизмов (К. Рылеев, *Гражданское мужество*), установления синонимических и антонимических рядов (*гражданин-человек*, *мужество граждан – самовластие*), перевода французских концептов (*милая свобода* – ср. *liberté chérie* в тексте «Марсельезы»). В поэтических текстах в большей степени происходит насыщение политических терминов морально-этическим содержанием. Слова социально-политического словаря сочетаются со словами, характеризующими душевные качества, эмоции, подлежащие оценке действия: *святая ревность гражданина*, *позорить гражданина сан*, *постыдное правосудье*, *строгий взор сограждан* и др. Происходит переосмысление роли поэта: «Подвиг новый для поэта/...не приманчивое слово.../...но чувство должностей и прав - / Гражданина-человека

/ В сердце врезанный устав» (П. Катенин). Характерно появление дискурса о «защите поэта» («В защиту поэта» Ф. Глинки): «Несправедливо мыслят.../...будто *Гражданина* / Условий не снесет *Поэт*... / Пусть не по нем и мир наш внешний.../Зато, вспивевши в час досужный, - .../ Он высоко заговорит!». И обратная тенденция – предпочтение звания гражданина званию поэта: «Ты не увидишь в них искусства: / Зато найдешь живые чувства, - / Я не Поэт, а Гражданин» (К. Рылеев).

Зададимся вопросом: почему это происходит? Почему к слову *гражданин* присоединяются лексические маркёры таких смыслов, как: нравственность, святость, благородство, человечность, способность мыслить, чувствовать. Мы видели, что политическое значение первоначально стало возможно благодаря механизму интертекстуальности: русское слово *гражданин* воспроизводило употребления французского *citoyen*, что было возможно в ситуации русско-французского двуязычия авторов соответствующих текстов. Этому предшествовал «Наказ», где впервые перевод *citoyen* как *гражданин* получает широкое распространение. Однако от простого воспроизведения словоупотреблений термин не создается – *гражданин* как политический термин (уже вне всякой связи с французским словом) определяется (слову предпослана дефиниция) в проектах декабристов. Это, по-прежнему, чрезвычайно узкий языковой пласт, не создающий узувальной семантики слова. Ситуация в истории слов совершенно нормальная (описанная еще Г. Паулем, подробно рассматривавшим окказиональные и узувальные значения слова), однако время, «отведенное» разворачиванию семантики слова *гражданин* на этом этапе явно еще не исчерпано. Его темпоральная семантика, определяющаяся «областью опыта», в котором (см. Таблицу в §4) присутствует то, что мы назвали стилистическим смыслом – это идеологический потенциал неполногласной формы (церковнославянизма). Именно этот «опыт» задает такой «горизонт ожидания», который делает возможным формирование морального концепта. «Концепт, - пишет Н.Ю Шведова, - неотрывен от смыслового строя языка, от его

дейктической системы: он является носителем тех глобальных смыслов, которые формируют дейктическую систему языка» [Шведова 2011: v]. Неполногласная форма *гражданин* имеет «моральный» смысл не сама по себе, а будучи включенной в «дейктическую систему, являющуюся смысловой основой языка» [там же]. В данном случае речь идет о коннотативной системе, образованном стилистическим смыслом 'возвышенность': «Совокупность связанных между собою значений образует виртуальную реальность, которая в себе замкнута и самодостаточна, т.е. составляет самостоятельное целое, существующее независимо от конкретных денотатов» [Успенский 2012: 9].

И подобно тому, как только располагая *понятием* революции, Екатерина II смогла бы понять соответствующие события во Франции, - только концептуальное содержание слова *гражданин*, разделяемое той бесконечно малой (в соотношении с общим числом носителей русского языка) группой «мятежников», сделало возможным событие 14 декабря 1825 года. (Ср.: «Спеши, куда зовет тебя долг гражданина» - А.А. Бестужев-Марлинский). В этом смысле мы находим прямое подтверждение тезиса Козеллека о том, что исторические понятия, обладающие темпоральной структурой, являются «факторами» внеязыковой действительности.

Темпоральная семантика (ТС), таким образом, – такое смысловое содержание данного слова, сущность которого определена временным компонентом, то есть *динамическим характером содержания*. Можно предположить, что ТС характеризует слово на определенном этапе его движения к образованию концепта. Возникновение концепта и есть лингвистическое событие в собственном смысле слова.

Исследование ТС может открыть механизм образования данного концепта данного языка. Так, например, смысловая пара «человек-гражданин» является центром русского концепта *гражданин* (где *человек* - это носитель нравственных качеств). *Человек* с смысловой структуре понятия *гражданин* – в европейском дискурсе второй половины XVIII в. – явление обычное (ср.,

например, фр. конструкции *bon citoyen* – «порядочный гражданин» и *honnête homme* – «честный человек», являющиеся синонимами). Однако вынесение смысла ‘человек’ в горизонт ожидания – явление, судя по всему, едва ли не уникальное, получившее реализацию в русском языке. Если вспомнить постулат М.М. Покровского о том, что «слова со сходным значением проходят сходную семасиологическую судьбу» [Покровский 1959: 80], то насыщение содержания слова *гражданин* смысловыми элементами, присущими *человеку*⁶⁴ (субъект мысли, субъект эмоции, носитель нравственных качеств) представляется явлением закономерным. Такое соединение определяет специфику русского концепта *гражданин* (в отличие, например, от *citoyen*), как и необходимость сделать разными словами значения ‘горожанин’ и ‘гражданин’ (область их пересечений не лежит в «центре интересов» русского концепта).

⁶⁴ О концепте «Человек» в русском языке и о способах его описания и исследования в трудах Ю.С. Степанова и В.В. Виноградова см.: Ревзина 2013.

Глава 5

Темпоральная семантика слова *общество*

§1. Истоки 'общности': этимология и слова с корнем -общ- в языке XI–XVII вв. (по данным словарей).

История социально-политического понятия *общество* неоднократно становилась предметом исследований⁶⁵. Однако большинство работ имеют целью описать внеязыковую реальность, стоящую за этим термином политического словаря, либо проследить историю его формирования в связи с событийной историей и т.д. В одной из первых работ, посвященных политической терминологии русского языка, политолог М.В. Ильин сформулировал позицию, которая, судя по всему, оказалась доминирующей на несколько десятилетий вперед: «Можно описать изменение значений и смысла выражения *гражданское общество*... посмотреть, когда оно появилось... как эти зачатки... концептуализировались. [В таком] случае получилось бы... лингвистическое исследование, которое... скорее бы затемнило, чем прояснило природу... современного гражданского общества» [Ильин 1997: 160]. Подобную позицию определяет представление о том, что понятие существует вне языкового воплощения, а некоторое «случайное» слово с течением времени все больше «насыщается» этим понятием, пока не сольется с ним в единое целое (как *boeuf* в известном рассуждении Э. Бенвениста⁶⁶). Этот «вечный» вопрос лексической семантики не может быть решен однозначно, однако только согласившись, что понятие не существует вне словесного воплощения, можно сделать возможным исследование собственно языкового значения слова. В противном случае, конечно, языковые данные лишь осложняют поиск универсального политического вокабуляра, как бы он ни назывался — *koinonia politike*, *societas civilis*, *societé civile*, *civil society* и т.д. Между тем в широко

⁶⁵ См., например: [Веселитский 1964]; [Веселитский 1968]; [Жданова 1997]; [Тимофеев 2011]; [Сдвижков Д., Ширле И. (ред.) 2012]; [Ильин 1997]; [Хархордин О.В. (ред.) 2011].

⁶⁶ См. [Benveniste 1966: 51]. Русскоязычное издание: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.

известном сегодня тезисе основоположника Begriffsgeschichte Р. Козеллека утверждается, что «как только “*societas civilis*” переводится как “*civil society*” или “*société civile*”, коренным образом меняется первоначальное значение понятия» [Козеллек 2010: 25].

В обширной работе Д. Калугина, посвященной истории понятия общества, вопрос ставится именно лингвистически: цель — «описать те формы “общего”, которые схватываются в языке и существуют на уровне практического словоупотребления» [Калугин 2011: 307].

Для древнерусского периода называются следующие типы «общности»:

1) «мистическая “общность”, создающаяся через приобщение к Иисусу Христу... все исповедующие христианскую веру составляют “общность католической церкви”» — *koinonia tes katholikes ekklesias* [Там же: 308];

2) «набор практик “общения”, при помощи которых нейтрализуются социальные различия» (обще ти буди с ним хлеб твой) [Там же: 309];

3) в устойчивых сочетаниях: *общий владыка, общий враг, общая вера*;

4) «общность с исповедующими веру предполагает не-общность с нарушителями христовых заповедей» [Там же: 311].

Калугин отмечает, что «слова на “общ” существуют главным образом в переводной литературе» [Там же: 313] — речь идет, например, о кормчих книгах — тогда как «светские контексты связаны с политической жизнью: постановления князя, дипломатическая практика, имущественные отношения, правовые механизмы [Там же: 312]. При этом религиозный дискурс становится донором для формируемого политического дискурса: «Политическое противостояние мыслится через антитезу, заимствованную из религиозных текстов, — “общий бог” vs “общий враг”» [Там же: 315]. Нельзя не согласиться с этим прозрачным выводом, однако в соответствии с поставленной задачей — охватить формы общности, представленные в языке, — большой интерес представляет не механизм антитезы, а метафорическая номинация. В приводимом примере *Не дай Бог на поганые езда, ся отреци: поганы есть всим*

нам *объчий ворог* [Там же: 314–315] устойчивое сочетание *объчий ворог* (связанное с эвфемистическим приемом неназывания имени дьявола) как номинативная единица метафорически переносится на «поганых», которые концептуализуются как темная сила, нечисть. «Заимствованием» выражения из религиозного дискурса этот пример не исчерпывается. Важным представляется как раз то, что меняется в ходе этого переноса. В христианском мире «общий враг» — это враг всех христиан, т.е. содержание слова *общий* представляет собой константную единицу, не требующую толкования и не являющуюся ситуативно обусловленной. Как только «общий враг» перестает означать исключительно дьявола, а трактуется исходя из ситуации — номинация *общий* приобретает предикативную функцию, называя качество, свойство общности-связи участников данной ситуации, происходит переход от вневременного к ситуативному, от неизменного — к варьирующемуся.

Более того — именно в этой «предрасположенности» семантики корня *-общ-* проявляться на временной оси или оставаться атемпоральной, судя по всему, и заложена чрезвычайная подвижность и неустойчивость вырабатываемых языком типов «общности», его высокая степень смысловой продуктивности. Это наблюдение косвенно подтверждается данными этимологии, точнее, вариантами ее истолкования.

Старославянское *объишьство* восходит к праславянской основе **obyťь* [Фасмер 2003: 110, III], истолковываемой исходя из семантики предлога-приставки *o(b)-*: «то, что вокруг» (там же), «распространенный вокруг, окрестный» (Черных, 2004: 589). Если усматривать в качестве основы **obi* («вокруг», ср. диалектн. *облый* — круглый), то слово можно толковать как «круглая деревня», «принадлежащий круглой деревне», ее «поселению» (Цыганенко, 1989: 269). Возможно и другое членение: **ob-ь-ti-tj-o*, где *ob* — приставка, *ti* — глагольный показатель, а корень — **ь < i < ei* (тот же, что и в глаголе *идти*). Поэтому значение может быть сформулировано как «то, что обошли вокруг» [Там же].

Разница между этими интерпретациями в наличии (вторая трактовка) или отсутствии (первая трактовка) в толковании временного параметра. При этом толкование, акцентирующее идею перемещения в пространстве (ср. многозначность приставки-предлога *ob*-⁶⁷), представляется более точным, учитывая роль пространственных аналогий в концептуализации идеи времени в языке.

В древнерусский период (XI–XV вв.) *общество* входит в обширное словообразовательное гнездо, представленное разными частями речи. Глагол: *общатися, общитися, общевати, общеватися, общетворити*. Прилагательное: *общии (общии), общьнии, общепользньи*. Наречие: *общче (общче), общиньне, общьне, общьно* (из кр.ф. ср.р. прил.). Большая часть дериватов приходится на имя существительное. Здесь можно выделять номинации человека — *общеживьц, общежитель, общенаачальникъ, общникъ, общница, общехранильница общетрапезьнъ*, действия — *общение, общание, общевание*, качества, признака — *община, общежитие, общепользе*. Ср.: *что бо общины земли к небеси*. Слово *общьство* имеет значительно меньшее число контекстов и, судя по всему, синонимично слову *община*, обозначая связь, отношение к чему-либо (*и общества ихъ не шлучиса, и так быти обществу божью к нам*).

На основе примеров [Срезневский 1911]; [СДРЯ 1988–2004] можно выделять следующие значения корня *-общ-*:

1) соединение через участие в одной ситуации (*не общникъ боуди трапезеѣ ихъ; общникъ есть нечтьивымъ, грѣхоу мълчаниєм общьници бываютъ, земля наша, а животине ходити опче*);

2) метонимия часть-целое (*вбщница твож и жена завѣта твоего, позна святаго духа, общующу отцу и сыну*);

⁶⁷ См. [Фасмер 2003: 96, III].

3) соединение через наличие общего объекта, признака (*объштааго въсѣхъ врага; хлѣбъ общеванныи*);

4) отношение «человек+человек» (*въ царьствии шбещника приать брата своего, шбещник же другъ друга будевѣ, страньника любите и своѣи трапезѣ общьника и створи*);

5) через говорение (*ѣму же и общевавьса ш всѣхъ; общающихся і молащихьса съ юретики*).

Во всех выделенных типах представлена узуальная (атемпоральная) семантика. Привнесение временного компонента может быть связано с осмыслением длительности процесса: *Съставляется община. Или доньде же живи суть общившеиса, или до време* («Составляется <общий> договор, соединяющий <участников> пожизненно или до определенного момента»).

Однако временная локализованность, судя по всему, проявляется, только когда глагол *общевати* выступает в качестве глагола речи: *Ему же и общевавьса о всех* («доложил, сообщил, сказал»).

Итак, одно возможное направление семантических сдвигов в словах с корнем *-общ-* связано с временным параметром. Другое направление — актуализация идеи *состава* общности и экспликация отношений, входящих в этот состав. Это может быть конкретное название «участников» (*обще празднованье небесных и земных силъ*) или генерализация (*съставляется общение написаное и ненаписаное межю двема и межю болшими, внегда каждо ею равным*) — универсальные семантические составляющие: а) общность образуется при количестве участников >1 ; б) отношения участников — это отношения равенства. Третья возможность (о которой уже шла речь выше) — функция замещения имени (участники — константная единица): *общий учитель, общий судья, общий враг, общее воскресенье*.

Неконкретизация состава общности может сопровождаться представлением общности как нечленимой единицы, противопоставленной

другой единице. Это оппозиция «свой–чужой»: *Аще братья общенья ради насле(д)я ро(д)тель не разделять не творять въ общия же от вънешнихъ притязаша* («Если братья ради общины откажутся <в миру> от наследства родительского, общине не иметь на него притязаний, не нужно делать общим то, что приходит извне»). Понятие «круга своих» Ильин называет одной из основных «когнитивных схем», входящих в смысловую структуру слова *общества*. Выделяются следующие когнитивные схемы:

язык, речь, слово

связь, соединение

общение-обмен

движение вместе, следование и наследование

свои, наши

все вместе

[Ильин 1997: 144].

Представляется более точным считать, что названное — проявление одной когнитивной схемы (если под ней понимать буквально образ мыслительного начертания) — схемы круга. Выделение в круг тех, кто говорит на одном языке, находится в одном месте и т.д., — смысловые траектории, «заполняющие» этот круг. Схема круга подразумевает наличие точки зрения, с которой осуществляется выделение «круга», иначе говоря, здесь потенциально присутствует позиция наблюдателя, которая может быть актуализована. Для XV в. словарями фиксируется прилагательное *общѣйший* («самый общий, главный») [СРЯ XI–XVII, 1975–2006: 193]. Превосходную степень можно толковать через понятие множества: «относящийся к возможно большому числу людей», это круг, охватывающий максимально большее количество людей, то есть максимально большой круг. Эта форма (*общейший*) явственно указывает на субъектно-объектную структуру: кто очерчивает круг и то, что подвергается очерчиванию. Не случайно Н. Копосов пишет о «возникновении общества из логики пространства»: «Первым когнитивным носителем идеи общества

выступало не слово, но образ подлежащего эмпирическому упорядочению множества» [Копосов 2001: 142].

§2. Структура «представления» и способы ее трансформации.

Наблюдая подобную когнитивную (мыслительную) структуру значения слова, нельзя не вспомнить о глубоком и точном наблюдении А.А. Потебни: «Знак в слове есть замена соответствующего образа или понятия; он есть представитель того или другого в текущих делах мысли, а потому называется представлением» [Потебня 1958: 18]. Представление — это «основание сравнения в слове» [Там же: 19], оно «составляет стихию *возникающего* слова» [Там же]. Не все слова обладают представлениями — у слова «рыба», пишет А.А. Потебня, «значение имеет только звук» [Там же].

Структура представления может быть полной или неполной. Вышеописанное слово обладает неполной структурой представления (субъектно-объектные позиции не актуализированы). Полная структура имеет место, когда позиция наблюдателя заполнена или не требует заполнения. В первом случае речь идет о сложных словах, одной из частей которых являются глагольные лексемы (деепричастия): *Спась бо нашъ... иже тържьникомъ срѣбро расыпа и цркви общетворящая изгъна* (XII в.). «Общетворить церковь» — обращать церковь в место не только для сакрального, но и для «всего вообще», «всего остального». Глагол *творити* имеет валентность на субъект действия, которая заполняется контекстуально — субстантивация *общетворящие* (кто).

Второй тип (полной структуры представления) — также сложные слова, имеющие в своей структуре лексему, обозначающую действие, но субъект действия является константным и поэтому не требует названия: *общедательный долгъ* («данный Богом»).

Слово *общество* обладает неполной структурой представления. Она может контекстуально достраиваться до полной через инклюзивность: *И так быти обществу божью к нам* (XIV в.) — ‘в круг, очерчиваемый Богом, входим

и мы, приобщаемся к его миру'. Или через «эксклюзивность», то есть когда «круг общества» — это «они», на которых указываю «я»: *Съгрѣшитъ к тобѣ брат твои иди обличи его...и обещьства ихъ не отлучиса* (XIV в.). Этот второй способ делает возможным переход от «общество кого» к «общество»: *Сия же писах къ высоте крѣпкаго и чествуемаго царствия твоего, надѣявсья въ милость его и в дарованную ему от бога благоразумную мудрость, ею же кротко услышит всѣх могущих съвѣтовати, что полезно обществу и времени пристоящее* (XVI в.) [СРЯ XI–XVII: 194]. Этот пример показывает метонимический перенос часть–целое «общество людей» — «общество», что делает возможным позицию актанта (ср.: «общество считает полезным»).

Таким образом, динамика семантических преобразований заложена в неполных представлениях. Это легко увидеть, если расположить выделенные параметры в виде таблицы, отмечая характерность (+) или нехарактерность (-) того или иного признака двум видам представлений слова *общество*.

Представление Хар-ки сем. структуры	полное	неполное
состав	+	-
временная локализованность	-	-
инклюзивность	-	+
эксклюзивность	-	+
семантический субъект действия	-	+

При этом современные употребления типа «общество имеет право законодательно ограничивать экономические и гражданские свободы» (НКРЯ) развиваются из неполных представлений, достроенных до полных через эксклюзивность:

полное	неполное представление	
	инклюзивность	эксклюзивность
		семантический субъект действия

Это направление семантического развития (неполное представление—эксклюзивность) обнаруживает свою продуктивность и через словообразование. Входящее в частое употребление в последней трети XVIII в. слово *сообщество*⁶⁸ — это, судя по всему, неполное представление слова *общество*, достроенное до полного через эксклюзивность — иными словами, отличие *сообщества* от *общества* в отстраненной позиции наблюдателя («они»), тогда как *общество* может приобретать и включенную точку зрения (инклюзивность, «мы»). Это, впрочем, только гипотеза, объясняющая, однако, употребление этих двух слов одним автором в одном относительно небольшом по объему фрагменте текста и, таким образом, осуществляющим выбор между этими словами. Ср. в одном письме из «Почты духов» И.А. Крылова:

1) *Человек, живущий в свете, против воле своей познает их (людей) пороки. И самые те, которые, будучи удалены от их сообщества, не перестают ощущать ее действий.*

2) *Плутарез кормил всех очень обильно; веселие в обществе нашем умножалось.*

3) *Что ж делать, такое здесь заведено обхождение; притворство почитается теснейшим узлом всех здешних сообществ.*

4) *С сожалением вижу, что поверхность обитаемого земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно.*

Примеры 1 и 3 явно указывают на эксклюзивность, что подчеркивается лексически («их») и содержательно («здешних» — то есть сам говорящий не принадлежит этому миру). В примере 2, напротив, слово *общество* достроено до полноты представления через инклюзивность («наше»), а в

⁶⁸ К периоду последней трети XVIII в. относятся большое количество префиксальных образований: *приобщение, приобщникъ, сприобщать, сообщать(ся), сообщительный, сообщество, сообщник, сообщнический, сообщный* [САР 1789–1794: 602–606].

примере 4 — через эксклюзивность (теоретически могло быть заменено словом *сообщество*⁶⁹).

По отношению к слову *общество* справедлива характеристика немецкого *Gesellschaft*: «Означает это слово в общем случае некую созданную речью (языком) и действием связь между людьми, совокупность... совместно действующих индивидов, и одновременно — состояние связанности, сами узы... Таким образом, слово это включает в себе сразу два смысла: воплощение актуально-социальной деятельности и социальную схему деятельности (примеры: семья, государство, предприятие, школа), которая исторически актуализируется в институтах, объединениях и так далее» [Ридель 2014: 221].

§3. Социально-политическое значение слова *общество*.

Выше было показано, что слова с корнем *-общ-* обладают представлением (в терминологии А.А. Потебни), которое может быть полным (заявлена позиция наблюдателя) или неполным. Слово *общество* характеризуется неполным представлением, и этим определяется динамический потенциал его семантики — большинство выделенных в таблице 1 характеристик получают положительную маркировку (+). Преодоление неполной структуры представления происходит через инклюзивность («я» внутри схемы круга 'общество'), и в этом случае происходит актуализация состава общества. Другой способ достраивания до полноты структуры представления — реализация позиции наблюдателя через эксклюзивность («я» вне схемы круга 'общество'). Актуализации состава при этом не происходит (по этому признаку неполнота не преодолевается), однако слово получает возможность быть агенсом пропозиции — т.е. приходит к современному типу употреблений (*общество* + Praed.) Как полному, так и неполному представлению присуща временная нелокализованность (табл. 1). Это означает, что каждый вновь очерченный круг «общности» мыслится как

⁶⁹ Предпочтение слова *общество* как менее определенного и, соответственно, вбирающего в себя наибольшее количество «ситуаций» больше отвечает контексту — речь идет о совместной жизни людей на Земле, без конкретизации — каких групп людей, где именно и т.д.

неизменный во времени (изменения приводят к очерчиванию иного, нового круга).

Итак, можно построить следующий алгоритм, объясняющий изменение значения слова *общество*:

Шаг 1. Семантическая динамика слова *общество* состоит в тенденции преодоления неполноты представления через эксклюзивность, при этом актуализации состава общности не происходит, а свойство временной нелокализованности остается неизменным.

Здесь мы сталкиваемся со специфическим характером отношений множества и тождества, представленных в исследуемом слове. Поскольку даже с преодолением неполноты структуры представления актуализации состава общности не происходит, множество, составляющее его, не поддается определению, а временная нелокализованность не позволяет произвести акт референции, состоящий в установлении тождества между «именем» и «вещью». Вероятно, именно на это явление и указывал Козеллек, настаивая на принципиальном различии «понятий» и «простых слов». Историк Н. Копосов, комментируя это положение Козеллека, говорит о «логическом своеобразии основных исторических понятий» [Копосов 2005: 58] и соглашается в том, что «в исторических понятиях деформируется нормальная семантическая структура, основанная на лингвистической триаде, различающей слова, понятия и вещи» [Там же: 56]. Филолог Б. Маслов считает, впрочем, что «специфика функционирования именно социально-политических понятий остается... недоказанной гипотезой» [Маслов 2012: 345]. Недоказанность (и, возможно, недоказуемость) этой гипотезы, как представляется, обусловлена тем, что вопрос выходит за пределы лингвистической науки и формулируется в философском ключе: «Мы должны помыслить множество, которое не является одним в принятом смысле слова, но которое мы размечаем как одно и которое не является

множеством в том смысле, что мы в действительности... не можем пересчитать то, что оно «содержит» [Касториadis 2003]⁷⁰.

Так становятся возможны конструкции, характерные для публицистики второй половины XVIII в.: *Третий чин — душа общества, ослабление общества, страждущее общество, мысли общества, себе и обществу, служу обществу* и т.п.

Дж. Лакофф раскрывает механизм функционирования подобных конструкций исходя из понятия «великой цепи бытия» — иерархической структуры понятий, где каждый следующий уровень концептуализуется в терминах предыдущего (так, человеческие свойства могут быть описаны через метафоры, связанные с животным миром). Над уровнем ‘человек’ надстраиваются следующие два: уровень общества, уровень Вселенной. Ср., например *общество* в конструкции: *Закон естественной обороны, необходимый для существования всех земных тварей и гражданских обществ* (1819 г.). «Мы говорим о “справедливом обществе”, “миролюбивой нации” и “злой империи”, как если бы им были присущи человеческие качества» [Lakoff 1989: 204]. Уровень ‘человек’ выступает как область-донор (source domain) для концептуализации сущности «общества»: как и у человека, у общества есть «душа», как человек, оно может «мыслить», «ослабевать», «страдать» и т.д. Кроме того, ему можно «служить», можно противопоставлять «себя» и «общество» — как отличного от себя человеческого существа. «И от того, как мы представляем себе их [общества, нации, государства. — Г.Д.] поведение, — пишет далее Лакофф, — зависит то, какие черты мы будем им приписывать. Мы можем понимать их в терминах форм жизни, присущих предыдущим звеньям Великой цепи бытия» [там же]. Из этого следует чрезвычайно важное свойство этого уровня: «Метафора Великой цепи бытия не столько служит для характеристики уровней, сколько *создает* их» [там же]. Это означает, что слово *общество* не приобретает социально-политическое значение, а *вырабатывает*

⁷⁰ Available at: http://vk.com/doc14723184_70197839?hash=925bf772f25b679ea0&dl=e9a3dcb24851b31e6e, (accessed 16.03.2015).

его — через репрезентации своих смыслов в языке. Это происходит по сформулированному правилу (см. *Правило 1*).

Как справедливо отмечает Козеллек, словари отражают «долговечную» семантику [Козеллек 2010: 32], иначе говоря — семантику накопленную — поэтому информация в толковом словаре всегда обращена «вспять» и предоставляет сведения о предшествующем (относительно дате проявления словаря) периоде.

В первом издании Словаря Академии Российской (1789–1794) первое значение слова *общество* — «народ под одними законами, под известными уставами, правилами, купно живущий» [САР 1789: 601]. Формулировка как будто бы эксплицирует социально-политическую семантику слова, однако наряду с употреблениями типа «жить в обществе», «человек рожден для общества, «человек обязан быть полезным обществу» присутствует и наречное значение: «обществом защищаться от неприятелей» [там же]. Этот пример говорит о том, что переход к социально-политической семантике еще только потенциально возможен. Другая возможность спецификации значения — сословная и профессиональная конкретизация, что и отразилось во втором значении слова *общество*: «сословие людей, собрание многих лиц, имеющих в виду одинаковое намерение и тот же предмет» [там же]. Ср. такие примеры: общество ученых мужей, купеческое общество, общество промышленников [там же].

В «Словаре церковно-славянского и русского языка» (1847) второе значение дословно воспроизводится, а в первое вносятся существенные изменения. Общество — это «собрание людей, живущих под одними правилами, или законами» [СЦСРЯ 1847: 79]. Здесь слово *народ*, несущее в себе этнический компонент и тем самым имплицитно называющее критерий «общности», заменяется нейтральным *люди*, и, таким образом, основания объединения в «общество» — это *законы*, или *правила*. Устранено пояснение «купно живущий», т.е. элиминирован параметр «состав», «общество» представляется

как целостная единица, как «множество, размеченное как одно», по выражению К. Касториадиса.

То, что «вырабатывание» значения, выступающего в роли социально-политического, нелинейный и градуальный процесс, можно видеть на примере более поздней дефиниции, относящейся ко второй половине XIX в. — в словаре И. Даля (1866). *Общество* — «это собрание людей, товарищески, братски связанных какими-либо общими условиями» [Даль 1866: 1626]. Здесь происходит характерное для семантики корня *-общ-* расширение круга — критерии составления общества не являются строго установленными (*законами* и *правилами*), напротив, эти критерии составляет то, что в наибольшей степени подвержено динамике, — отношения между людьми. В этой же дефиниции далее происходит спецификация понятия — как мы уже видели, это может происходить за счет актуализации состава общности. Так, *гражданское общество* составляют «граждане одного государства», но одновременно и «граждане одной местности», «все невоенное». В зависимости от «состава» очерчиваются различные круги ‘общество’: «дворянское, купеческое общества составляют части гражданского общества» [там же]. Наряду с профессиональной конкретизацией (*общество портных, сапожников*) сословная номинация «крестьянское общество» терминологизируется: «собрание всех домохозяев, кому на миру, на сходке дано право голоса» [там же].

Однако интересным представляется как раз вопрос о том, как и почему слово *общество* сначала становится принадлежностью «языка оппозиции» (Павел I в 1797 г. запрещает употребление этого слова как революционного), а затем становится неотъемлемым понятием политического словаря (например, в проектах декабристов).

§4. *Общество* в конституционных проектах и переводах первой трети XVIII в.

На первый взгляд кажется очевидным тот посыл, что понятие об обществе формируется в ситуации противостояния (отдельных личностей или дворянских

группировок) самодержавию. Власть реагирует запретом оппозиции — т.е. запретом самого слова. Историки выделяют два значимых периода в этом противостоянии на протяжении XVIII века: послепетровское междоцарствие, завершившееся воцарением Анны Иоанновны на «кондициях» — пунктах, ограничивающих ее власть (1730 г.); и екатерининский период — труды М.М. Щербатова, политические проекты Н.И. Панина и Д.И. Фонвизина. Необходимо подчеркнуть, что при такой фокусировке исследовательской оптики вопрос об истории слова и понятия *общество* не стоит. Здесь речь идет о степени реализации амбиций конкретных лиц (Д.М. Голицына, В.Н. Татищева, М.М. Щербатова и др.) в отношении политического устройства России. Исторический подход объясняет, почему Павел I запретил оппозицию, но не проливает свет на вопрос о том, почему в этой истории оказалось «замешано» именно слово *общество*.

Анализу непосредственно текстов дворянских проектов 1730 г. посвящено относительно мало исследований. Один из самых подробных текстологических анализов принадлежит историку Г.И. Протасову (1971). Восстанавливая в деталях последовательность создания конкретных документов и сравнивая их содержание, исследователь резюмирует: «В дворянских проектах “общество” фигурирует как орган государственной власти с определенными функциями как одно из важнейших нововведений в проектировавшейся форме правления» (Протасов, 1971: 68). Такой вывод для лингвиста не может не показаться поспешным: представляя историю этого слова и свойственную ему в первой половине XVIII в. сочетаемость (изолированная позиция без зависимых слов — явление еще достаточно редкое, тогда как преобладает наречная функция), трудно поверить, что слово неожиданно до такой степени «эмансипировалось» и стало именем государственного института. Однако особая роль этого слова в «дворянских проектах» очевидна. Следует лишь отнести более критично к конкретным употреблениям этого слова.

В таблице в сокращенном виде представлены тексты трех основных проектов⁷¹.

Первый проект	<p><i>Сего Февраля 7 дня, при собрании в Верховном Тайном Совете военного и статского генералитета, по прочтении присланных от Ея Величества Государыни Императрицы за подписанием Ея пунктов объявлено, от Верховного Тайного Совета: ежели кто что может изобресть к лучшей пользе государству и обществу не для собственных интересов....посоветовать по совести, предъявили б; и потому... предъявляем следующее: 1) в начале учредить вышнее правительство в 21 персоне; 2) дабы онаго вышняго суда правительства множеством дел не отягчать, того ради для отправления протчих дел учинить сенат в 11 персонах <...> 5) в важных государственных делах так же, и что потребно будет впредь сочинить в дополнение уставов, принадлежащих к государственному правительству, оные сочинять и утверждать вышнему правительству и сенату, генералитету и шляхетству общим советом <...></i></p> <p><i>У сего 330 рук приложено, в том числе <подписи></i></p>
Второй проект	<p><i>Сего февраля в (*) день, при собрании Тайнаго Верховнаго Совета, по прочтении присланных от Ея Императорского Величества за подписанием руки Ея Величества пунктов, от Верховнаго Тайнаго Совета объявлено: ежели кто может изобресть к лучшей пользе отечеству объявили бы; и потому объявлению, что могли изобресть по совести, предлагаем следующее: 1) к Верховному Тайному Совету, к настоящим персонам мнится прибавить, чтоб с прежними было 16-ть персон, понеже для важных дел призвано будет общество ... 2) а ныне к Верховному Тайному Совету в прибавок и впредь на вакансии выбирать обществом, чтоб было в собрании не меньше ста персон, а именно генералитету военного и статского и шляхетства <...> 5) в коллежские вице-президенты и воеводы и протчие гражданские чины выбирать и балатировать обществом <...> 10) что потребно впредь сочинить в дополнение уставов принадлежащих к государственному правительству, или какие дела касается будут к государству общей пользе, оные сочинить и утверждать верховному правительству и шляхетству общем совету.</i></p> <p><i>У сего (25)</i></p>
Третий проект	<p><i>Ныне обществом сочиняется:</i></p> <p><i>Сенату быть в 30-ти персонах, Государыне президентствовать и иметь три голоса, а Верховному Тайному Совету не быть.</i></p> <p><i>Для дел малейших отлучить с переменою по годно 10 человек, а в государственных делах сообщаться всем.</i></p> <p><i><...></i></p> <p><i>На убылые места в сенат в члены, и в коллегии в президенты и в губернаторы, выбирать обществом балатированьем; а сенату к выборам не вступаться.</i></p> <p><i>Впредь что потребно к исправлению и к пользе государственной явится, сочинить сейму и утвердить обществом.</i></p>

⁷¹ Тексты приведены по изданию [Кашпирев 1871].

Поскольку все эти три текста создавались фактически одновременно, справедливо считать, что все представленные в них конструкции со словом *общество* проявляют те из его семантических возможностей, какие оказываются востребованы в этот период. Всего можно выделить четыре типа конструкций:

- a) *государство & общество vs отечество*
- b) *призвано будет общество*
- c) *выбирать обществом*
- d) *обществом сочиняется*

Для типа (c) синонимичными являются следующие конструкции со словами того же корня: *в делах государственных сообщаться всем, утверждать общим советом*.

В случаях (a) и (b) представление построено через эксклюзивность («я» вне круга ‘общество’): не актуализован состав общности, оно выступает как целостная (сплошная) единица. Это проявляется в синтагматических и структурных характеристиках. В примере (a) представлена дистрибуция: *общество* появляется в качестве второго компонента в сложной номинации *государство и общество* (первый проект). Во втором проекте изменение предложения — «к лучшей пользе *отечеству*» снимает необходимость употребления слова *общество* (#к лучшей пользе *отечеству и обществу*). Слово *отечество* реализует другую схему, подразумевающую включение «я» в то, что названо этим словом — на это указывает и внутренняя форма (*отец* — эта номинация реализуется в отношении кого-то). Поэтому *общество* (эксклюзивность, «я» вне схемы круга) в такой конструкции невозможно.

Конструкция из примера (b) — результат диатетического сдвига: семантической роли пациенса соответствует синтаксическая позиция субъекта действия. При этом агенс из ситуации устраняется (ср. прототипическая ситуация: «X призывает общество»), образуя так называемый «безагенсный пассив» (Падучева, 2004: 61). В.А. Плунгян называет такие конструкции «понижающей актантной деривацией», при которой «каузатор утрачивает

актантный статус» и «у декаузативной ситуации на одного участника меньше» (Там же). Это одновременно означает и повышение коммуникативного ранга пациенса — «общество» мыслится как нерасчлененное множество, «соборное лицо». Из контекста понятно, что речь идет о призыве чего-то наподобие «исполнительной комиссии», которую, конечно, составляют конкретные люди, но важным оказывается не это, а целостное, «соборное» действие этого объединения.

Диатетический сдвиг имеет место и в примере (d): субъект действия представлен в виде агентивного дополнения (*обществом*). Формально эта конструкция сближается с примером (c), где семантическую валентность следует понимать, скорее, как инструмент: «обществом», т.е. «всем вместе». Действия *выбирать* или *утверждать обществом* возможны, только если каждый «участник общности» произведет названное действие. О том, что в случае (c) речь идет именно о соединении конкретных лиц, а не о действии «соборного лица», косвенно говорит и тот факт, что под каждым проектом стоят подписи конкретных участников такой «общности» («У сего 25»). В примере (d), однако, ситуация не столь однозначна. Если конструкция типа «выбирать обществом» не может быть трансформирована без изменения смысла в конструкцию с прямой диатезой («общество выбирает»), то конструкция «обществом сочиняется» такую трансформацию допускает. Глагол *сочинять* здесь означает «устанавливать, определять, назначать» (СЦРЯ, IV, 1847: 196) и выступает, в сущности, как перформатив («высказывание, эквивалентное действию, поступку» [ЛЭС 1990, URL]), и поэтому называемое им действие не складывается из суммы действий «участников общности». Соответственно, перформативный акт может быть приписан коллективному лицу. Появление слова *общество* в подобной конструкции в позиции агентивного дополнения — знак того, что смысловой потенциал слова раскрывается в сторону реализации валентности субъекта. «Важнейшая особенность человеческого языка заключается в том, что семантическая и синтаксическая сочетаемость слов в большей степени

согласованы. Это значит, что если у лексемы есть партиципant X, то с очень высокой вероятностью у нее будет и синтаксическая валентность X» [Тестелец 2001: 163]. Это замечание может быть «повернуто» и в обратную сторону: заполнение синтаксической валентности X в конструкции с косвенной диатезой фактически делает возможным конструкцию с прямой диатезой, где X занимает синтаксическую позицию субъекта, являясь агенсом соответствующей ситуации. Иначе говоря, от конструкции «обществом решается» до «общество решает» — буквально один шаг.

В конституционных проектах 1730 года слово *общество* с очевидностью «проявило себя» как способное выражать разные оттенки смысла для называния регулирующего механизма власти «рычага» (*государство и общество* — две равнозначные силы). Речь не идет о том, что это слово выражает понятие о социальном (считать так нет никаких оснований), поэтому не следовало бы делать вывод, что в дворянских проектах 1730 года слово *общество* впервые выступает как социально-политический термин. Те структурно-синтаксические сдвиги, о которых шла речь выше, сделали возможным раскрытие потенциала семантики этого слова русского языка. То, что именно оно стало термином социально-политического лексикона, — следствие, в сущности, достаточно непрогнозируемое.

На протяжении всей первой половины XVIII в. для передачи западного понятия об обществе использовались многочисленные фонетические варианты калькирования: *социетас* (1718), *социетет* (1724), *социете* (1728), *сосиетет* (1732), *социетат* (1738), *сосиета* (1747), *сосиете* (1748) (Биржакова, Войнова...: 1972). Это, с одной стороны, говорит о том, что перевод этого концепта средствами русской лексической системы оказывался невозможным, а с другой стороны, с очевидностью показывает нежизнеспособность этих сменяющих друг друга вариантов. «Приобщение» слова *общество* к социально-политическому понятийному аппарату — результат осмысления его семантики в этом ключе. Здесь высока роль отдельной языковой личности.

Известно, что ведущая роль в составлении «кондиций» принадлежит Д.М. Голицыну. Г.И. Протасовым доказано, что так называемый «проект общества» составляется одновременно с составлением «кондиций» (в отличие от многочисленных последовавших после объявления кондиций «шляхетских проектов»). То есть все эти тексты синхронны относительно языковой ситуации первой трети XVIII века и создаются людьми приблизительно одного языкового сознания (государственные чиновники из дворян). Известно также, что Голицын на протяжении долгого периода своей жизни обдумывал проект ограничения самодержавия, а непосредственно перед событиями января 1730 г. перевел на русский язык Локка (перевод выполнен с фр. варианта «*Du gouvernement civil*») «О гражданском правлении», а также написал предисловие к переводу («Ведомость»)⁷². Судя по опубликованным в работах исследователей отрывкам из этого текста, не только у слова *общество* не было терминологического значения, но оно выступало лишь как один из вариантов перевода *société*. Наличие других слов (*собрание, гражданство*) говорит о необходимости прояснения термина через внутреннюю форму русского слова, что и ощущал переводчик. Ср. следующие варианты:

а) *люди собралися в одно собрание или общество, своею волею, ради своей лутчей выгоды... ради того написали себе законы общим согласием;*

б) *иные пишут, что люди собравшиеся в общество, своеволью, и ради своей лутчей выгоды и жития покойного...;*

с) *всяк писал по состоянию своей земли, или кто в каком гражданстве жил; господин Лок... предлагает о гражданстве свое разсуждение... и показывает начало и основание гражданства».*

(Цит. по. [Польской 2002].)

В случае (а) выбор однокоренных слов (*собралися в собрание*) говорит о необходимости акцентировать внимание на идее добровольного, активного начала (на языке XI–XV вв. можно было бы сказать *общевалися в общество*).

⁷² См. [Польской 2002].

Одновременно устанавливается синонимическая связь (*собрание или общество*) — идея «общего согласия», очевидно, представляется важной, и она не прочитывается в слове *собрание*. Поэтому в примере (b) — конструкция, соединяющая оба эти элемента (воление, равенство).

В третьем случае (c) понятие общества «подается» через правовую семантику, и здесь ближе оказывается слово *гражданство* (о терминологической паре *гражданин–гражданство* см. Гл. 4). Общество обозначалось словом *гражданство* (в последней трети XVIII в. употребляется параллельно слову *общество*, постепенно уступает ему в частотности и уходит к началу XIX в.)⁷³. На этом этапе *гражданство* оказывалось более прозрачным термином для обозначения «общества», под которым понималась совокупность *граждан-подданных*.

Стабилизация ситуации подобной лексической вариативности происходит во второй половине XVIII в. Так, например, в радищевском переводе с французского книги Мабли всем случаям употребления слова *société* соответствует *общество*, покрывающее также контексты с фр. *publique, assemblée, communauté* – см. *Таблицу*. При этом рассмотренные выше тексты проектов 1730 г. остаются единственными «представителями» того, что в Главе 3 было обозначено как «официальная ось политического дискурса». И хотя они составлялись не монархом и никогда не получили легалистского статуса, создавались эти тексты именно с позиций официального, регламентирующего политического начала. В этой связи интересно заметить, что следующий такой этап наступает не раньше первой трети XIX в. – вместе с проектом «Русской Правды» П.И. Пестеля (1825), тогда как семантические процессы, подготовившие возможность выражения словом *общество* социально-политического понятия, происходили всецело в «неофициальном дискурсе»

⁷³ Отдельные замечания об этом см. в [Веселитский 1966: 38], [Тимофеев 2011: 78–79]. Выводы о статистике по материалам НКРЯ. Ср., напр.: «Во всяком первоначальном гражданстве правительство примечается весьма слабым и не имеющим довольных власти к восстановлению благоустройств в обществе... (И.А. Третьяков. Рассуждение о причинах изобилия и медлительного обогащения государств как у древних, так и у нынешних народов... (1772)

второй половины XVIII в. В этом плане государственные акты (синхронные во времени «Русской Правде») обнаруживают архаическую терминологическую систему, и слово *общество* в них не встречается (см. *Таблицу*).

<p>Société</p>	<p>Платон поставляет царство правосудия и благоденствия у первых человеков: но уже ныне знаем, что думать о... той сладкой праздности, соделывающей приятности общества, страстей неведающего.</p> <p>Учение сие умягчило разумы; селения, составляющая неподвластные и неприязненные единое другому общества, престали ненавидеть друг друга, и начали соделывать союзы.</p> <p>Цари споспешествуя повреждению, дабы чрез то найти повинующихся их воле рабов, жертвовали бы отечеством частным своим корыстям. В Египте Ликург познал власть нравов над обществом.</p> <p>Не учреждал ли он под именем Демократии истинное безначальство? Хотя бы сей законодатель обнарудовал законы, касающиеся до всех частных общества предметов, и могущие онаго соделать благоденствие.</p>
<p>Communauté</p>	<p>Чем более Етолиане великия делали дела, тем более соседи стали их опасаться; они столько же ненавистны были, как Галлы; они соблюдали сей дух грабежа и разбойничества, истребившийся во других Греках при составлении правильных обществ</p> <p>Не побуждаемые ни властолюбием ни жаждою завоеваний, Ахеане объявили некоторый род войны всем Пелопониским мучителям. Они напали нечаянно на некоторые города, их освободили, и почитали, что довольную возприимут мзду за убытки и опасности своих предприятий, если сопрягут их с обществом, в коем они наслаждались тою же независимостию и теми же преимуществами, как города издревле союзные.</p>
<p>Compagnie</p>	<p>Сей то был жребий народа наизнаменитейшаго может быть всея древности, и коего слава возбудила, при самом его падении, в Римлянах зависть. Есть ли другой народ, коего бы история предлагала политическим размышлениям</p> <p>столь верныя и столь великое число правил, для всего того, что может соделать обществ благоденствие или бедствие?</p> <p>Должно ли было Спартиянам побуждать Грецию к завоеваниям, которыя, не обогащая ни единого из ея городов особо, соделали бы общество ея могущественнее?</p>

<p>Publique</p>	<p>Солон учредил Сенат, составленный из ста граждан каждой семьи; и общество сие, управляющее делами, приготовляющее их для народного собрания, и освещающее и предводительствующее народу в его судах, принесло бы правительству великую пользу, если бы законодатель знал искусство сообразить таким образом власть его со властью народа, чтобы они, не испребляя единая другую, удерживались во взаимном равновесии.</p> <p>Спартяне и Афиняне сделали наконец перемирие; а мирное заключение, святейшими клятвами утвержденное, слабый бы был залог общественная тишины.</p> <p>Можно ли было надеяться, прибавляет сей благоразумный историк, чтобы почтенная обществом богатства были презренны частными людьми?</p>
<p>Assemblées</p>	<p>Я вам, говорил он, буду тогда войну советовать, когда вы будете в состоянии оную производить, когда я увижу, что молодые люди повинуются, и своего в бою места не покидают, что богатые добровольно помогают республике в ее нуждах, а витии общества не грабят»</p> <p>Исключенный из судейского достоинства, из народных собраний и так сказать из сообщества с людьми, семья, чрез брак в родство с ним вступившая, почла бы себя участницею его срама</p> <p>Издrevле природная беспокойность Галлов выводила их из их земли, и Греция со ужасом еще напоминала их прежнее опустошение Фракии, Иллирии и Македонии. Страх был обществен всем Грекам, общая корысть долженствовала их соединить.</p>

<p>Грамота российскому народу, 1801 (Н.Н. Новосильцев – Александр I, проект)</p>	<p>Управляя народом, скипетру нашему от Бога вверенным, коренными законами, имея первым предметом благоденствие всех наших верноподданных</p>
<p>Введение к уложению государственных законов, 1809 (М.М. Сперанский)</p>	<p>Началом сих разделений приемлются самые предметы законов: отношения людей, в обществе живущих Начало и источник <законодательной, исполнительно, судной> сил в народе: ибо он не что другое есть, как нравственные и физические силы людей в отношении к общежитию</p>
<p>Государственная уставная грамота</p>	<p>В собрании градского общества имеет голос токмо тот, кто записан в градскую обывательскую книгу;</p>

Российской империи, 1820 (Н.Н. Новосильцев)	Окружные городские общества, окружные городские собрания.
---	---

§5. Когнитивная карта «общество».

Под когнитивной картой подразумевается то, как осмысливается отношение общности в языке и к каким семантическим сферам относит этот смысл язык⁷⁴. В отличие от процедуры выделения лексических значений, «картирующих» семантическое поле, составление когнитивной карты предполагает выделение механизмов образования тех или иных значений. Перенимая формулировку Р. Якобсона о поэтической функции языка, можно сказать, что цель построения когнитивной карты — описание процесса «проекции принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» (Якобсон, 1975: 204): того, что вычленяется языком как смысл (селекция) на формально-грамматические и структурно-синтаксические возможности (комбинация). Формирование (образование) когнитивной карты — процесс не только глобального (*longue durée*), но локального (*courte durée*) характера. Это означает, что названный процесс «проектирования» имеет место как относительно некоего временного промежутка (например, «последняя треть XVIII в.), так и в рамках одного текста одного автора, а также в корпусе текстов одного автора. Рассмотрим этот последний случай на примере публицистических текстов Д.И. Фонвизина. На первом этапе выделяются типы значений слова *общество*, исходя из контекстной интерпретации (эта стратегия представлена в исторических толковых словарях — например, в Словаре языка XVIII в.

Значение	Пример
Дворянское сословие	Сии три класса дворянства составляют один только корпус. Сей знатный корпус волен быть сам в себе, в своих имениях и в делах

⁷⁴ Первоначально понятие когнитивной карты для анализа семантической структуры поэтического текста было введено О.Г. Ревзиной. См. [Ревзина 1988]. Понятие когнитивной карты используется в работе [Ревзина 2009].

	<p>всякого из своих членов: им не дозволено только разрушать свое общество и поступать худо с своими вассалами</p> <p>Не уступлю в душевном чувствовании всех неисчетных благ, которые изливаются на благородное общество</p>
Народ	<p>Всякая ложь, клонящаяся к ослеплению очей государя и общества</p> <p>Государь есть душа правимого им общества</p> <p>Слово отечество стало душою общества <у греков></p> <p>Я видел, что нет иного блага, кроме того, что полезно обществу и с порядком сообразно; нет иного зла, кроме того, что сему противно</p>
Все человечество	<p>Яко часть целого, Марк Аврелий, должен ты покоряться тому, что есть следствие общего порядка: отсюда рождается твердость в бедствиях и бодрствование... Яко часть общества, должен ты делать все то, что полезно человеку: отсюда истекают должности друга, мужа, отца, гражданина</p>
Профессиональное объединение	<p>...все те, которые приняли намерение составить малое сообщество издавать «Московские сочинения»</p> <p>Если б не проводили мы время в спорах о законе, которые кажутся важнее, то бы купечество было обыкновенным предметом в *сообществах. Я видал ныне и придворных людей, возвышающих преимущества оногo</p> <p>Сверх того, общество, издавая сии книги, желает стараться о чистоте российского языка</p> <p>Как всякое общество утверждается на единодушии тех, кои оно составляют, то все пиесы должны быть читаны собранием</p>
Иное объединение	<p>Сострадательная благодать его [Марка Аврелия] зрела во всех чинах государственных многочисленное токмо общество братьев, друзей и сродников</p>
Жизнь среди людей	<p>Стыдно делать дурно, а в обществе жить не есть не делать ничего</p>
Коммуникация	<p>Египтяне удалялись сперва от всякого *сообщества с чужестранцами, в силу своей веры и обычаев</p> <p>Я сам имел славу быть в обществе знаменитых сих учителей</p>

Социально-политический конструкт	<p>Третий чин — душа общества; он политическому корпусу есть то, что желудок человеческому;</p> <p>О римляне! Почто у людей источник блага всегда в источник зла преобращается? Сие святое правосудие, помощь и ручательница общества, стала при тиранах ваших самым основанием разрушения</p> <p>Марк Аврелий видел, что природа вложила во всех людей ум, к обществу способный; отсюда усматривает он рождающееся понятие о вольности, ибо где токмо владыко и рабы, тамо нет общества</p> <p>Я познал, какое имею место во вселенной, рассматривал, какое место в обществе имею, и с ужасом узрел, что в оном поставлен я на чреду земных владык</p>
----------------------------------	---

Когнитивная карта того же корпуса текста индифферентна к границам между выделенными значениями и «перекраивает» материал исходя из имманентных (а не контекстно интерпретируемых) значений. Так, конструкции типа *свое общество* и *благородное общество*, отнесенные в таблице 4 к одному значению ('дворянское сословие'), лингвистически являют собой два различных значения. 1) *Свое общество* представляет расчлененную структуру, эксплицируя отношения между отдельными участниками ситуации общности; 2) *благородное общество* — называет участников ситуации (ср. трансформ: *общество благородных*). К этому второму значению логически относится пример, который в таблице 4 классифицируется по остаточному принципу («иное объединение»): *общество братьев, друзей и сродников*. Это значение реализуется также и в примере *быть в обществе знаменитых сих учителей*. Однако этот пример является более сложным ввиду реализации в нем когнитивной (концептуальной) схемы 'вместилище'.

Теория концептуальных схем была разработана Дж. Лакоффом: «Опыт в существенном отношении структурирован до и независимо от образования каких-либо концептов. Существующие концепты могут накладывать дополнительное структурирование на опыт, который мы получаем, но базовые

структуры опыта присутствуют независимо от какого-либо обнаружения концептов» [Лакофф 2003: 353]. К базовым структурам относятся кинестетические образные схемы — к ним относится схема 'вместилище' — она «определяет наиболее базовое разграничение — разграничение между ВНУТРИ и СНАРУЖИ. Мы понимаем наши тела как вместилища» [Там же: 354], в языке происходит «распространение телесно-ориентированного понимания вещей на широкий круг абстрактных концептов» [Там же].

Помимо рассмотренного примера *Быть в обществе знаменитых сих учителей*, к этому же типу относятся примеры *Какое место в обществе имею и в обществе жить не есть не делать ничего* (в табл. 4 также отнесенных к разным значениям).

Иное значение представлено в конструкциях родительного принадлежности: *ручательница общества, душа общества*, где находит воплощение другая концептуальная схема: 'общество как человек, как персонa' (лицо). Эта же концептуализация имеет место в независимом употреблении: *где токмо владыко и рабы, тамо нет общества*.

Таким образом, можно говорить о том, что на «оси селекции» представлено три концептуальных схемы: отношение, человек, вместилище. На «оси комбинации» им соответствуют различные языковые средства: лексические (*своё*), синтаксические (генетив принадлежности/изолированное употребление, предложно-падежная конструкция).

Полученную когнитивную карту возможно распространить и на более обширный корпус текстов (публицистика второй половины XVIII в.⁷⁵). При этом «ось селекции» в целом остается неизменной (действуют те же концептуальные схемы), варьируются лишь средства, представленные на «оси комбинации».

⁷⁵ В корпус вошли публицистические тексты М.М. Щербатова, Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева, Н.И. Новикова, Н.М. Карамзина, И.А. Крылова.

Концептуальная схема 'отношение' является наиболее распространенной — она реализуется через актуализацию состава общности (конструкция с атрибутом или генетивная конструкция):

Почтенное/благородное общество

Просвещенное общество

Худое сообщество {общество плохих людей}

Честное общество {общество честных людей}

Общество разнovidных лиц

Общество юношей

Общество благовоспитанных людей

Он бросил меня в большой сундук, где находился я в обществе со многими разных сортов деньгами (Повесть о полуполтиннике)

Изолированное (без зависимых слов) употребление представлено реже:

Ум, к обществу способный

Общества между благородными

Пользоваться знакомствами и обществом

Общество не в обжирании и опивании состоит, и не может оно быть приятно, где нет равенности

Изолированное употребление (общество либо не является синтаксической вершиной, либо входит в качестве субъекта в предикативный минимум), как правило, присуще реализации схемы 'человек':

Третий чин — душа общества

Правосудие — помощь общества

Ослабление общества {общество ослабевает}

Что с ним потеряло общество?

Страждущее общество {общество страдает}

Мысли общества {общество мыслит}

В глазах общества

Ослепление очей государя и общества

Чтобы преступник не вредил обществу

«Прототипическим» средством реализации схемы ‘вместилище’ является предложно-падежная конструкция (в + В.п., в + П.п.):

Человек для сохранности своей вступает в общество

Государь есть первый гражданин народного общества

Смертная казнь в обществе не нужна

Человек, живущий в обществе под сению законов

В государстве, то есть в обществе людей законами управляемом

Другая возможность воплощения этой схемы — конструкции с атрибутами:

здешнее общество

парижское общество

Периферийные (побочные) случаи реализации названной концептуальной схемы связаны с наложением на другую концептуальную схему, реализованную прототипическим средством:

Все почти общество безрассудно покупает

В этом примере *общество* занимает позицию субъекта и воплощает концептуальную схему ‘человек’. Одновременно лексический ограничитель *все почти* «работает» в логике схемы ‘вместилище’: те, на кого распространяется называемое действие, как бы очерчиваются окружностью, вписанной в круг ‘общество’.

Подобное совмещение концептуальных схем раскрывает когнитивный потенциал, представляемый словом *общество*. Раскрытие этого потенциала во времени связывается фактически с «перераспределением» выражаемых смыслов между различными языковыми единицами и языковыми средствами. Так,

например, в «Путешествии в землю Офирскую» М.М. Щербатова мы встречаем конструкцию: «При всем обществе им укоризну учинить» (речь идет о публично оглашаемой провинности нескольких людей перед лицом всей колонии). На современный русский язык мы бы перевели это высказывание без употребления слова *общество*: *высказал перед всеми, при всех*. Значение ‘все, очерчиваемые кругом’ выступает как второстепенное, не будучи противопоставленным значению ‘не входящие в круг’ (это значение в исходной конструкции представлено нулевой формой), и вследствие этого происходит нейтрализация этого противопоставления. В связи с этим сама идея круга (‘вместилище’) оказывается не востребуемой — и смысл подобного высказывания «уходит» к другой лексеме языка (*все*).

§6. *Общество* в «Русской правде» П.И. Пестеля.

В социально-политический язык слово *общество* «вторгается» тогда, когда вступает в определенные (парадигматические и синтагматические) отношения с терминами политического лексикона, в особенности с центральным термином — *государство*. Перестройка парадигматических отношений состоит в понижении приоритета непересеченных значений (конструкции типа *государство и общество*). Новый тип возможных отношений — включение: *государство — это такое общество, которое...*, тождество: *общество — это государство*. В синтагматике реализуются, соответственно, синонимические (союз тождества *или*) и родовидовые отношения *государство — разновидность общества*.

Названные явления представлены в тексте «Русской правды» П.И. Пестеля (1825), являющейся опытом лингвистического моделирования значения языковой единицы, исходя из потенциально заложенных значений, о которых шла речь в предыдущих параграфах.

Следует прежде всего сказать, что *общество* — центральный термин документа. Термины *государство*, *гражданин* появляются как составные части

понятийной системы, задаваемой словом *общество*. Дается следующее определение: «Всякое соединение нескольких человек для достижения какой-либо цели называется обществом» [Пестель 2010: 323]. Такое определение охарактеризовано по признакам: а) состав (*несколько человек*); б) основание общности (*цель*); в) тип связи (*соединение*, т.е. равноправие); г) временной параметр (*для достижения* — обращенность в будущее). В комбинации этих признаков присутствует нечто такое, что мы не наблюдали, рассматривая примеры предыдущих периодов (до конца XVIII в.), а именно — одновременность реализации параметров ‘состав общности’ и ‘основание общности’ (реализует позицию наблюдателя). Напомним, что первый из этих параметров реализуется в полных представлениях (или в неполных, достроенных через инклюзивность), а второй является средством преодоления неполноты представления через эксклюзивность. Фактически это означает актуализацию сразу двух механизмов: инклюзивности и эксклюзивности. Наряду со стандартными (подобными рассмотренным выше) типами конструкций (А) в «Русской правде» присутствует и принципиально новый тип (В).

(А). Преодоление неполноты представления через эксклюзивность, как уже было показано, приводит к реализации семантической роли агенса: *Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для достижения одной. Общество* как нерасчлененная единица заполняет также синтаксическую позицию объекта: *Разрушить общество*.

(В). *Общество* предстает как расчлененная структура (актуализируется параметр ‘состав общности’): *члены всякого общества могут единодушно согласиться в цели*. В этом примере, несмотря на параметр ‘состав общности’, не реализуется механизм инклюзивности: слово *всякий* указывает на отстраненную позицию Наблюдателя. Поэтому более точным будет усматривать здесь эксклюзивность со спецификацией, состоящей в актуализации параметра ‘состав общности’.

Этот новый тип конструкции наиболее очевиден в следующем примере из «Русской правды»: *А ежели члены не хотят общество уничтожить, то каждый из них должен уступить часть своего мнения, дабы составить только одно мнение.* Существенная «инновация» подобной конструкции состоит в соединении двух семантических моделей, которые были рассмотрены в параграфе, посвященном этимологии. Напомним, что первая модель трактует этимологию *обътъ без временного компонента — «круглая деревня», а вторая — сообразно временному представлению: «то, что обошли вокруг», «участок, определенный таким образом». Эти две трактовки воплощаются далее в механизме инклюзивности («я в круге общность») и эксклюзивности («я вне круга»). В рассмотренном примере слово *общество* выступает в роли пациенса (позиция объекта), подверженного действию *разрушить*. При этом действие направлено на *общество* как на нерасчлененную целостность. Однако субъект действия (*члены*) называет состав этой целостности, тем самым превращая ее в расчлененную единицу (*каждый из них*), элементы которой соединяются в новую целостность (*составить только одно мнение*).

Параметр «состав» конкретизируется в атрибутивной конструкции: *Народ российский составляет устроенное Гражданское общество.* Существенно отметить, что слово *гражданский* появляется в тексте «Русской правды» раньше, чем слово *гражданин*: понятие правового субъекта не является в этом тексте востребованным как таковое, а получает значимость исключительно в сфере концептуальной области «общество». Теперь мы можем сформулировать *Шаг 2*, согласно которому формируется социально-политическое значение:

Шаг 2. Социально-политическое значение слова *общество* — это значение, возникающее при абсолютном (по максимальному набору параметров) преодолении неполноты структуры представления. Это означает, что неполнота представления преодолевается через эксклюзивность, сопровождающейся актуализацией параметра «состав» и временного параметра, и *общество* предстает как

нерасчлененная единица с определенным, неизменным, однородным составом — *сословие граждан*.

§7. «Языковой дрейф» и семантическая судьба слова *общество*.

Рассмотрев исходные типы общностей, представленные в языке, и присущие им характеристики, мы поставили вопрос следующим образом: *Как возможно появление в сфере названных значений значение политическое?* Такая постановка вопроса принципиальна — она отлична от другой и, вероятно, ошибочной постановки вопроса: «Когда у этого слова возникает политическое значение?» Эта вторая формулировка неприемлема не только потому, что предполагает некое линейное «развитие» семантики слова *общество*, которое в какой-то момент «увенчалось» политическим смыслом, но и потому, что лишает исследователя возможности «разглядеть» в его семантической структуре то значение, которое впоследствии стало значением политическим.

Слово *общество* пережило колоссальное количество изменений, касающихся как парадигматических отношений с другими лексемами (вхождение в обширное словообразовательное гнездо в древнерусский период), так и плана синтагматики (синтаксическое управление и сочетаемость — ср., например: *ум, к обществу способный, общества между благородными* — в языке первой половины XVIII в.), сигнализирующего об изменениях в смысловой структуре слова (ср. *общество блага* в значении «всеобщее благо»). Каким образом эти изменения могут быть объяснены исходя из логики «развития», «совершенствования» языка, «снятия противоречий»? Как отмечает М. Линн-Мерфи, «современная лексическая семантика видит свою задачу в изучении того, “как языковые конструкции связаны с человеческим мышлением” [Jackendorff 2006: 355]», а «лингвистическая семантика, в существенной мере, стала исследованием структур мысли — понятийных структур, того, какую сетку эти структуры накладывают на язык». [Murphy 2011: 53]. Поняты таким образом задачи лексической семантики ведут к раскрытию тезиса Козеллека о том, что

социально-политические понятия являются фактором внеязыковой реальности, ведь «общество меняется [в зависимости] от того, как его понимают те, кто его образует. Здесь значение лексем [*общий, общество*] недвусмысленно свидетельствует о социальной реальности» [Филиппов 2013: 273].

Выйти за пределы этой «логики ножниц» (внешние vs внутренние факторы изменений) возможно, если распространить мысль Козеллека в отношении слов языка: темпоральная структура слова есть когнитивный потенциал данной лексемы и его последовательное раскрытие во времени. При этом «область опыта» образуют уже реализовавшиеся семантические потенции (валентности) слова, а «горизонт ожидания» — те, которым только предстоит реализоваться⁷⁶.

Русское слово *общество* изначально обладает богатейшим когнитивным потенциалом, заключенным в его корне (несравнимым по объему с предоставляемым, например, во французском языке словом *société*). Язык словно непрестанно находится в поисках той общности, которую единственно можно выразить этим словом и никаким другим. Так, уходят из лексикона древнерусские *общник* (союзник), *общеседалище* (собрание), *общетрапезнь* (сотрапезник), не получают дальнейшего бытования изобретения XVIII в. — *общемыслие* (единомыслие), *общебратство* (всеединство) и др. Из социально-политического языка ушли такие слова, как *общник* (гражданин), *общество* (государство). На фоне формирования социально-политического языка в «неофициальном дискурсе» (публицистика) конца XVIII в. происходит своего рода «перетяжка» смыслов слова *общество* в сторону других формирующихся понятий политического лексикона. Так, концептуальная схема ‘человек, действующее лицо’ переходит в сферу действия понятия о правовом субъекте (*гражданин*), схема ‘вместилище’ остается прототипической для *государства*. Именно то, что является специфическим в слове *общество*, а именно концептуальная схема ‘отношение’ подвергается осмыслению в теоретико-

⁷⁶ Такое понимание термина «темпоральная структура» было предложено О.Г. Ревзиной в рамках спецкурса «История слов и эволюция понятий», читаемого на филологическом факультете МГУ.

политическом ключе (что мы видели на примере «Русской правды» П.И. Пестеля) и впоследствии перенимает большинство средств выражения («ось комбинации») других двух концептуальных схем (позиция синтаксического субъекта, сочетание с атрибутом, генетивные конструкции и др.).

При этом формирование социально-политического значения не является конечной точкой, пресекающей дальнейшее движение языкового «дрейфа». Синхронно вышеописанному политическому значению встречается, например, такая конструкция: *Тут целыми обществами переходят из этого на тот свет так легко, как будто из дома в дом!* (Ф. Глинка, *Письма русского офицера*). Только на первый взгляд кажется, что такое употребление совершенно несходно со значением слова *общество* в «Русской правде» Пестеля. На самом же деле здесь реализуется та же тенденция, состоящая в экспликации основания общности. Только в «Русской правде» этим основанием является «соединение на основании общей цели» и этот признак входит в (предлагаемое в тексте) толкование слова, а здесь этим основанием общности служит момент времени: *погибать обществами* называет ситуацию, при которой большое количество людей погибает в один момент времени.

§8. Выводы по II части.

Проведенный анализ семантической истории слов *гражданин* и *общество* позволяет сделать следующие выводы:

- Базовая для русской культуры семантическая оппозиция «церковнославянизм-русизм» является основополагающей для формирования понятия о гражданине как о правовом субъекте. Расподобление слов *горожанин* и *гражданин*, закрепление социально-политического значения за церковнославянской формой – это история формирования ключевого смысла русского концепта *гражданин*: доминирование идеологического содержания термина.

- Востребованность этого смысла связана с теми условиями, в которых начинает формироваться понятие о гражданине – как об адресате «дискурса власти». Переходным этапом является перестройка коммуникативной структуры правового текста, которую мы наблюдаем в «Регламенте» Петра I. Отношения отправителя и получателя выражены в тексте за счет вербализации позиции адресата – которую и заполняет форма *гражданин*. Корень *гражд-* оказывается продуктивным для формирования терминологии политико-правовых отношений – в тексте «Регламента» возникает модель «гражданин-гражданство», представляющая, фактически, средства структуриации социума (понятие «среднего сословия»).
- Устранение механизма правового взаимодействия *гражданина* и власти происходит через аннигиляцию семантики терминологического статуса пары *гражданин-гражданство* в тексте «Грамоты городам» Екатерины II. Фактически это означает устранение оппозиции «церковнославянизм-русизм» и введение большого числа лексем с корнем *город-*, не имеющих статуса термина.
- Сложившаяся ко второй половине XVIII в. «конфликтная» в языковом плане ситуация в отношении семантики слова *гражданин* находит разрешение в противостоящем «дискурсу власти» жанре публицистики. Здесь раскрывается внутренняя динамика понятия, смысловой объем слова значительным образом расширяется. Существенную роль здесь играет языковое сознание авторов создаваемых текстов: русское слово *гражданин* становится носителем коннотативных смыслов, присущих слову *citoyen* в языке предреволюционной Франции.
- Слово *гражданин* обнаруживает стабильную «семантическую недостаточность», проявляющуюся в том, что значимые компоненты этого понятия выносятся в синтагму («добрый гражданин», «мыслить как гражданин», «восстановить во звание гражданина»). Однако эти компоненты не являются устойчивыми элементами значения – они всегда

контекстуальны. На этом этапе слово фактически уподобляется функционированию шифтеров – единиц, указующих на смысл, но не называющих его в отрыве от контекста.

- Слово приобретает терминологический статус в проектах декабристов, становясь частью политического лексикона и получая четкую дефиницию.
- Специфическим концептуальным содержанием слово наполняется в литературных текстах декабристов, становясь моральным концептом и входя в дискурс о нравственном долге человека перед *отечеством, соотчичами и милой свободой*.
- Слова с корнем *-общ-* могут обозначать целостную семантико-номинативную единицу (*общий враг* в древнерусских летописях – это враг всех христиан, т.е. дьявол) или называть связь (*общий враг* – вне религиозного дискурса – метафорическая номинация «поганых»: ‘все для, кого это «враг», объединены общностью’). Эти два типа значения по-разному соотносятся с временным параметром. В первом случае представлена атемпоральность (эта связь – ‘все христиане’ константна) и темпоральность (*что* связывается этим отношением в каждом отдельном случае – момент установления такой связи). Подвижность значения относительно временной оси - сущностная характеристика семантики этого корня. Отсюда лабильный характер (неустойчивость, вариативность) вырабатываемых языком типов «общности».
- Схема круга – базовая когнитивная схема (мыслительное начертание), лежащая в основе значения общности. Она означает ментальное очерчивание кругом тех, кто, например, находится в одной ситуации (*общетрапезьнь*) и т.д. Схема круга подразумевает наличие точки зрения, с которой осуществляется это выделение, то есть позицию наблюдателя (могущей быть актуализованной или неактуализованной).

- Схема круга – «основание сравнения в слове» (А.А. Потебня) – будет названо термином «представление».
- Представление о круге подразумевает несколько смысловых позиций (позиция наблюдателя, состав, основание объединения, временной параметр). В зависимости от заполненности этих позиций различается полная и неполная структура представления. Основной смысловой позицией признается позиция наблюдателя (именно заполнение этой позиции провоцирует семантическую динамику - инклюзивность, эксклюзивность).
- Позиция наблюдателя выражена в том случае, когда выражены субъектно-объектные отношения (не в строго синтаксическом смысле, т.к. действует и в пределах одного слова (*общетворящие, общедательный долг*)).
- Заполнение позиции наблюдателя возможно двумя способами: инклюзивность ('я внутри круга': *и тако быти обществу божью к нам*), эксклюзивность ('я вне круга и указываю на него' – *общества их не отлучися*).
- Эксклюзивность создает синтаксическую позицию субъекта действия (что далее ведет к семантической роли агенса - сопутствующей социально-политическому значению): *что полезно обществу* (XVIв.) и *общество находит полезным* (XVIII в.).
- Слово *общество* обладает неполной структурой представления: само по себе оно ничего не сообщает о позиции наблюдателя (в отличие от приведенных древнерусских слов). И в этом заложен огромный когнитивный потенциал.
- Преодоление неполной структуры представления происходит через инклюзивность («я» внутри схемы круга 'общество'), и в этом случае происходит актуализация состава общества. Другой способ достраивания до полноты структуры представления — реализация позиции наблюдателя через эксклюзивность («я» вне схемы круга 'общество'). Актуализации состава при этом не происходит (по этому признаку неполнота не преодолевается),

однако слово получает возможность занимать позицию актора пропозиции — т.е. приходит к современному типу употреблений (*общество* + Praed.)

- Как полному, так и неполному представлению присуща временная нелокализованность. Это означает, что каждый вновь очерченный круг «общности» мыслится как неизменный во времени (изменения приводят к очерчиванию иного, нового круга).

На основании этих наблюдений формулируется алгоритм семантической динамики слова *общество*:

➤ **Шаг 1:** Семантическая динамика слова *общество* состоит в тенденции преодоления неполноты представления через эксклюзивность, при этом актуализации состава общности не происходит, а свойство временной нелокализованности остается неизменным.

- Изменения в семантической структуре на этапе Шаг-1 приводят к таким употреблениям слова: *ослабление общества, третий чин – душа общества, мысли общества, службу обществу* и др.
- Такие функциональные изменения приводят к изменениям структурным: прежде чем за *обществом* закрепляется синтаксическая позиция субъекта действия, это слово появляется в позиции агентивного дополнения (*обществом сочиняется*). При этом именно семантический потенциал слова, а не синтаксическая позиция в будущем сделают возможным семантическую роль агенса. Так, конструкция *обществом выбирается* ('все вместе выбирают') при трансформации в прямую диатезу «общество выбирает» ('*?') теряет свой смысл, тогда как *обществом сочиняется* такую трансформацию допускает ('общество постановляет'). Это объясняется тем, что в первом случае неполнота достроена через инклюзивность ('все вместе, включая меня'), а во втором – через эксклюзивность ('я констатирую действия отдельного субъекта').

- Значения слова *общество* в последний трети XVIII в. (периода, когда формируется социально-политическое значение) могут быть представлены методом составления когнитивной карты. В отличие от словарного (списочного) принципа перечисления значений, на когнитивной карте значения объединяются в группы не по общности денотата, а исходя из реализованных в конкретных словоупотреблениях концептуальных схем (в понимании Дж. Лакоффа).
- Слово *общество* реализует три такие схемы: *ВМЕСТИЛИЩЕ* (*мы в обществе живем*), *ОТНОШЕНИЕ* (*общество благородных*), *ПЕРСОНА (ЧЕЛОВЕК)* (*страждущее общество*). Каждая из схем обладает прототипическими и периферийными средствами выражения. В последнем случае происходит совмещение двух и более концептуальных схем (*Все почти общество безрассудно покупает – ВМЕСТИЛИЩЕ + ПЕРСОНА*).
- На фоне формирования социально-политического языка в «неофициальном дискурсе» (публицистика) конца XVIII в. происходит своего рода «перетяжка» смыслов слова *общество* в сторону других формирующихся понятий политического лексикона. Так, концептуальная схема *ПЕРСОНА* переходит в сферу действия понятия о правовом субъекте (*гражданин*), схема *ВМЕСТИЛИЩЕ* остается прототипической для *государства*. Именно то, что является специфическим в слове *общество*, а именно концептуальная схема *ОТНОШЕНИЕ* подвергается осмыслению в теоретико-политическом ключе.
- Социально-политическое значение проявляется на структурном уровне в тексте «Русской правды» П.И. Пестеля, где конструкция типа *Члены всякого общества могут единодушно согласиться в цели* сочетает в себе возможности двух путей преодоления неполноты – инклюзивности (актуализован параметр ‘состав’ – *члены общества*) и эксклюзивности (отстраненная позиция наблюдателя – ср. *всякое общество*). При этом слово

гражданин появляется как семантический дериват от конструкции *гражданское общество* (эксклюзивность, параметр ‘состав’ – *граждане*).

Это позволяет сформулировать второй шаг алгоритма, объясняющий возникновение социально-политического значения:

- **Шаг 2:** Социально-политическое значение слова *общество* — это значение, возникающее при абсолютном (по максимальному набору параметров) преодолении неполноты структуры представления. Это означает, что неполнота представления преодолевается через эксклюзивность, сопровождающуюся актуализацией параметра ‘состав’ и временного параметра, и *общество* предстает как нерасчлененная единица с определенным, неизменным, однородным составом — *сословие граждан*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационном исследовании на материале законодательных, публицистических, литературных (прозаических и поэтических) текстов представлено комплексное описание истории слов *гражданин* и *общество* в русском литературном языке второй половины XVIII - первой трети XIX вв. Выявлены закономерности разворачивания «семантических историй» каждого из слов и предложены когнитивные модели их реализации. Разработан метод анализа семантических изменений отдельного слова, объединяющий семасиологический и ономасиологический подходы в исторической семантике. В основе этого метода – переосмысление теоретических установок направления *Begriffsgeschichte*, традиционного для исторической лексикологии метода «истории слов», а также использование «ресурсов» исследований предшествующих современному этапам развития лингвистической науки (труды Г. Пауля, М.М. Покровского, А.А. Потебни). Суть метода заключается в том, что слово рассматривается как «объективный исторический факт» (В.В. Виноградов) и самоценный предмет исследования. Поэтому качественный подход превалирует над количественным (статистические данные не являются валидными для анализа). Напротив, равновалидными признаны как тексты, имевшие широкое распространение (как «Наказ» Екатерины II), так и менее распространенные (публицистические статьи интеллектуалов) и характеризующиеся «темпоральной неповторимостью» (Козеллек) источники – дневники, письма, мемуары. Все эти источники являются факторами создания темпоральной структуры слова: реализованные семантические возможности образуют «область опыта», а потенциальные – «горизонт ожидания». Определяющееся такой структурой динамическое содержание слова было названо темпоральной семантикой.

Исследование темпоральной семантики слов *гражданин* и *общество* позволило получить качественно новые сведения об истории этих слов, выявить собственно-языковую логику ее разворачивания во времени «лингвистических

событий», преодолеть идеологически и методологически тупиковую тенденцию описания семантических изменений как результата действия «внешних» и внутренних «факторов».

Анализ семантики слов *гражданин* и *общество* тесно связан с выявлением специфики русского социально-политического языка рассматриваемого периода. Так, было показано, что в период второй половины XVIII- первой трети XIX вв. социально-политический дискурс существовал в форме двух различных «языков», которые условно обозначаются в работе как «официальная» и «неофициальная» оси. Две оси социально-политического дискурса характеризуются различным словарным составом. В официальном языке представлены синонимичные лексемы (*подданные-граждане-народ-люди*), которые являются омонимами по отношению к лексемам «неофициального дискурса» (*подданный vs гражданин*). Совпадая в общей противопоставленности значениям официального дискурса, значения одних и тех же слов рознятся в системах отдельных идиолектов политических мыслителей эпохи.

В исследовании значимость одного из ключевых текстов XVIII в. – «Наказа» Екатерины II – впервые была раскрыта с точки зрения языка этого документа. Была продемонстрирована роль французского первоисточника, послужившего «прецедентным текстом» и определившего языковые стратегии создания системы русских политических концептов. Детальным образом проанализированы основные типы контекстов, где в соответствии французским терминам *société* и *citoyen* поставлены русские слова *общество* и *гражданин*. Выявлены основные механизмы установления таких соответствий: модификация (сужение или нейтрализация исходного политико-правового содержания), трансформация (создание принципиально иного смысла). Анализ позволил выявить, что: 1) специфическое терминологическое значение получает слово *гражданин*: человек как «мишень» для проявления государевой воли и как ее исполнитель; 2) также *гражданин* понимается как «единица» *народа, людей* и *подданных*, которых объединяет подчинение *закону веры и закону государственному*; 3) слово *общество* не становится термином, однако

отвечает на «запрос» номинации политически не активных и всецело зависящих от воли государя *людей*.

В политических проектах декабристов слова *гражданин* и *общество* становятся узловыми. В «Конституционном проекте» Н.М. Муравьева (1825) ключевым является слово *гражданин* – это проявляется в четких дефинициях (*Граждане суть жители Российского государства, которым предоставлены права Гражданства*), субстантив *Русский* (синоним *гражданина*), терминологический неологизм *русский негражданин* (не получивший права гражданства – в силу возраста, экономического ценза и т.д.). В «Русской правде» П.И. Пестеля (1825), напротив, центральная роль отведена понятию общества (и это, в сущности, первый документ, в котором понятийное содержание этого слова ставится во главу угла): *Всякое достижение нескольких человек для достижения какой-либо цели называется обществом. Слово гражданин (суть чиновные особы и вместе с тем Российские граждане) встречается в документе реже, чем номинации человек, член, люди, российские обитатели, сыны отечества*. В прозе Н. Бестужева, относящейся к этому же периоду (1820-е), эти слова составляют единый смысловой комплекс (*Когда же жизнь и существование гражданина сделаются драгоценны для целого общества?*).

Этапы и закономерности семантической динамики слов *гражданин* и *общество* детально сформулированы в параграфе «Выводы по II части» пятой главы. Повторим их здесь в сокращенном виде:

1. Расподобление слов *горожанин* и *гражданин*, закрепление социально-политического значения за церковнославянской формой – это история формирования ключевого смысла русского концепта *гражданин*: доминирование морально-этического компонента содержания.
2. Переломным этапом в процессе формирования понятия правового субъекта является перестройка коммуникативной структуры правового текста, которую мы наблюдаем в «Регламенте» Петра I. Отношения отправителя и получателя выражены в тексте за счет вербализации позиции адресата – которую и заполняет форма *гражданин*. Корень

гражд- оказывается продуктивным для формирования терминологии политико-правовых отношений – в тексте «Регламента» возникает модель «гражданин-гражданство», представляющая, фактически, средства структуризации социума (понятие «среднего сословия»).

3. Сложившаяся ко второй половине XVIII в. «конфликтная» в языковом плане ситуация в отношении семантики слова *гражданин* находит разрешение в противостоящем «дискурсу власти» жанре публицистики. Существенную роль здесь играет языковое сознание авторов создаваемых текстов: русское слово *гражданин* становится носителем коннотативных смыслов, присущих слову *citoyen* в языке предреволюционной Франции.
4. Слово *гражданин* обнаруживает «семантическую недостаточность», проявляющуюся в том, что значимые компоненты этого понятия выносятся в синтагму («добрый гражданин», «мыслить как гражданин», «восстановить во звание гражданина»). Этим определяется «горизонт ожидания» в его темпоральной структуре: и если политическое значение привносится в слово коннотативно (интертексты фр. *citoyen*), то концептуализация понятия о гражданине осуществляется всецело в смысловых категориях русского языка, базовой из которых является дихотомия «церковнославянизм-русизм» и связанные с ней стилистические смыслы (‘возвышенность’ и задаваемая этим смыслом точка зрения: нравственный, этический идеал).
5. Специфическим концептуальным содержанием слово *гражданин* наполняется в литературных текстах декабристов, становясь моральным концептом и входя в дискурс о нравственном долге человека.
6. Слова с корнем *-общ-* могут обозначать целостную семантико-номинативную единицу (*общий враг* в древнерусских летописях – это враг всех христиан, т.е. дьявол) или называть связь (*общий враг* – вне религиозного дискурса – метафорическая номинация «поганых»: ‘все для, кого это «враг», объединены общностью’). Эти два типа значения по-

разному соотносятся с временным параметром. В первом случае представлена атемпоральность (эта связь – ‘все христиане’ константна) и темпоральность (*что* связывается этим отношением в каждом отдельном случае – момент установления такой связи). Подвижность значения относительно временной оси – сущностная характеристика семантики этого корня. Отсюда лабильный характер (неустойчивость, вариативность) вырабатываемых языком типов «общности».

7. Схема круга – базовая когнитивная схема (мыслительное начертание), лежащая в основе значения общности. Она означает ментальное очерчивание кругом тех, кто, например, находится в одной ситуации (*общетрапезнь*) и т.д. Схема круга подразумевает наличие точки зрения, с которой осуществляется это выделение, то есть позицию наблюдателя (могущей быть актуализованной или неактуализованной).
8. Схема круга – «основание сравнения в слове» (А.А. Потебня) – будет названо термином «представление».
9. Представление о круге подразумевает несколько смысловых позиций (позиция наблюдателя, состав, основание объединения, временной параметр). В зависимости от заполненности этих позиций различается полная и неполная структура представления. Основной смысловой позицией признается позиция наблюдателя (именно заполнение этой позиции провоцирует семантическую динамику – инклюзивность, эксклюзивность).
10. Заполнение позиции наблюдателя возможно двумя способами: инклюзивность (‘я внутри круга’: *и тако быти обществу божью к нам*), эксклюзивность (‘я вне круга и указываю на него’ – *общества их не отлучися*).
11. Эксклюзивность создает синтаксическую позицию субъекта действия (что далее ведет к семантической роли агенса – сопутствующей социально-

политическому значению): *что полезно обществу* (XVI в.) и *общество находит полезным* (XVIII в.).

12. Слово *общество* обладает неполной структурой представления: само по себе оно ничего не сообщает о позиции наблюдателя (в отличие от приведенных древнерусских слов). И в этом заложен огромный когнитивный потенциал.

13. Как полному, так и неполному представлению присуща временная нелокализованность. Это означает, что каждый вновь очерченный круг «общности» мыслится как неизменный во времени (изменения приводят к очерчиванию иного, нового круга).

14. На основании этих наблюдений формулируется алгоритм семантической динамики слова *общество*:

Шаг 1: Семантическая динамика слова *общество* заключается в тенденции преодоления неполноты представления через эксклюзивность, при этом актуализации состава общности не происходит, а свойство временной нелокализованности остается неизменным.

15. Изменения в семантической структуре согласно Шагу 1 приводят к таким употреблениям слова: *ослабление общества, третий чин – душа общества, мысли общества, служу обществу* и др.

16. Такие функциональные изменения приводят к изменениям структурным: прежде чем за *обществом* закрепляется синтаксическая позиция субъекта действия, это слово появляется в позиции агентивного дополнения (*обществом сочиняется*). При этом именно семантический потенциал слова, а не синтаксическая позиция в будущем сделают возможным семантическую роль агенса. Так, конструкция *обществом выбирается* («все вместе выбирают») при трансформации в прямую диатезу «общество выбирает» («*?») теряет свой смысл, тогда как *обществом сочиняется* такую трансформацию допускает («общество постановляет»). Это объясняется тем, что в первом случае неполнота достроена через

инклюзивность ('все вместе, включая меня'), а во втором – через эксклюзивность ('я констатирую действия отдельного субъекта').

17. Слово *общество* реализует три следующие концептуальные схемы: *ВМЕСТИЛИЩЕ* (*мы в обществе живем*), *ОТНОШЕНИЕ* (*общество благородных*), *ПЕРСОНА (ЧЕЛОВЕК)* (*страждущее общество*). Каждая из схем обладает прототипическими и периферийными средствами выражения. В последнем случае происходит совмещение двух и более концептуальных схем (*Все почти общество безрассудно покупает – ВМЕСТИЛИЩЕ + ПЕРСОНА*).

18. Социально-политическое значение проявляется на структурном уровне в тексте «Русской правды» П.И. Пестеля, где конструкция типа *Члены всякого общества могут единодушно согласиться в цели* сочетает в себе возможности двух путей преодоления неполноты – инклюзивности (актуализован параметр 'состав' – *члены общества*) и эксклюзивности (отстраненная позиция наблюдателя – ср. *всякое общество*). При этом слово *гражданин* появляется как семантический дериват от конструкции *гражданское общество* (эксклюзивность, параметр 'состав' – *граждане*).

19. Это позволяет сформулировать второй шаг алгоритма, объясняющий возникновение социально-политического значения:

Шаг 2: Социально-политическое значение слова *общество* — это значение, возникающее при абсолютном (по максимальному набору параметров) преодолении неполноты структуры представления. Это означает, что неполнота представления преодолевается через эксклюзивность, сопровождающуюся актуализацией параметра 'состав' и временного параметра, и *общество* предстает как нерасчлененная единица с определенным, неизменным, однородным составом — *сословие граждан*.

Полученные результаты исследования семантической истории слов *гражданин* и *общество* могут быть использованы в качестве материала для

составления «Исторического словаря социально-политических терминов русского языка». Теоретико-методологические принципы, лежащие в основе проведенного анализа, должны быть применены к исследованию более обширного материала с тем, чтобы адаптировать их и привести в соответствие с конкретной практической задачей по составлению названного типа словаря.

Кроме того, результаты исследования вносят существенные коррективы в складывающуюся на данный момент традицию русской «истории понятий» - активно разрабатываемую научную междисциплинарную область, в которой, однако, лингвистике отведено периферийное, служебное место, что зачастую приводит к искаженной или неполноценной интерпретации языкового материала. Представляется, что именно история понятий является сегодня перспективной областью лингвистического исследования, предполагающей создание «целостной теории языка...определяющей место языкознания – не сателлита, но ядра» [Ревзина 2004: 18].

БИБЛИОГРАФИЯ

Монографии и статьи:

1. Агеева О.Г. К вопросу о патриотическом сознании в России первой четверти XVIII в. // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI-XX вв.). Сб. статей. М., 1994. Вып. I. С. 38-50.
2. Алексеев А.А. История слова "гражданин" в 18 веке // Известия АН СССР, Сер. лит. и яз. М., 1972, т. XXXI, вып.1. - С. 67-73.
3. Андреев Н.Д. Система речи и эволюция языка. — В кн.: «Материалы Всесоюзной конференции по общему языкознанию «Основные проблемы эволюции языка», т. I. Самарканд, 1966.
4. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. М., 1995.
5. Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии. В 2 томах. Т. I. Парадигматика. М., 2009.
6. Артемьева Т.В. История метафизики в России XVIII в. СПб, 1996.
7. Артемьева Т.В. Михаил Щербатов. СПб., 1994.
8. Архангельский А.Н. Александр I. М., 2006.
9. Балли Ш. Французская стилистика. М., 2001.
10. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С.114 -163.
11. Бёдекер 2010 – Х. Э. Бёдекер. Отражение исторической семантики в исторической культурологии // История понятий, история дискурса, история менталитета. Сборник статей. М., 2010
12. Бельчиков Ю.А. Из истории словарного состава р.яз. История слова «мещанин» // Вестник Московского университета, №1, 1953.
13. Бельчиков Ю.А. Интернациональная терминология в русском языке. М., 1959.
14. Берков П. Н. История русской журналистики XVIII в. М.-Л., 1952.
15. Биржакова Е.Э. Русская лексикография XVIII в. СПб., 2010.

16. Биржакова Е.Э., Войнова Л.А., Кутина Л.Л. Очерки по исторической лексикографии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972.
17. Бондарко А.В. (ред.). Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. СПб., 1990.
18. Будагов Р.А. Развитие французской политической терминологии в XVIII в. Л., 1940. (idem.: М., 2000).
19. Булыгина Т.В. Семантические типы предикатов. М., 1982.
20. Веселитский В.В. Из наблюдений над языком произведений А.Д. Кантемира (общественно-политическая лексика) // Процессы формирования лексики русского литературного языка (От Кантемира до Карамзина). Ред. Сорокина Ю.С. М.- Л., 1966.
21. Веселитский В.В. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII - нач. XIX в. М., 1972.
22. Веселитский В.В. Развитие отвлеченной лексики в русском литературном языке первой трети XIX в. М., 1972.
23. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М., 1977.
24. Виноградов В.В. Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка. М., 1958.
25. Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка XVIII-XIX вв. М., 1982.
26. Виноградов В.В. Слово и значение как предмет историко-лексикологического исследования // История слов. М., 1999. С. 5-39.
27. Винокур Г.О. История русского литературного языка. М., 2010.
28. Габдреева Н.В. История французской лексики в русских разновременных переводах. М., 2010
29. Гак В.Г. К типологии и методике историко-семантического исследования: на материале лексики французского языка. Л., 1979
30. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1988.

31. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2014.
32. Гивон Т. Сложность и развитие. Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М., 2015.
33. Гийому Ж. Лингвистическая история концептуальных словоупотреблений, проверенная на опыте лингвистических событий // История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010.
34. Глебкин В.В. Смена парадигм в лингвистической семантике. От изоляционизма к социокультурным моделям. М., 2014
35. Гордин Я.А. Меж рабством и свободой. 19 января-25 февраля 1730 года. Русский дворянин перед лицом истории. СПб, 2005.
36. Греймас А.-Ж. Структурная семантика. М., 2004.
37. Гриффитс Д. Злодеи, фанатики, адвокаты. Взгляды Екатерины II на Французскую революцию // Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М., 2013.
38. Гросул В.Я. Русское общество XVIII-XIX в.: традиции и новации. М., 2003.
39. Евтушенко О.В. Мир и человек: культурно значимые потери в новейшей истории слов и перспективы «исправления имен» // Вестник МГЛУ. Вып. 21 (681) Филологические науки. Слово в языке и слово в литературе. – М., 2013. – С. 185–194.
40. Евтушенко О.В. Последовательное развитие и упрощение понятий в процессе эволюции художественной речи // Язык как медиатор между знанием и искусством. Сб. докладов Межд. науч. семинара. – М., 2009. С. 20–26.
41. Евтушенко О.В. Согласие, понимание, единство: национальные и личные ценности через историю слов // Преподаватель XXI век. – 2009. – № 4. С. 137–144.
42. Евтушенко О.В. Структура суперконцепта «Государство» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Лингвистика. – 2007. – № 2. С. 86–93.
43. Евтушенко О.В. Эволюция концептов в художественной речи как отражение ее когнитивного потенциала. – Дис. ... д-ра филол. наук. – М., 2011.

44. Евтушенко О.В. Этапы эволюции концепта «государство» при его воплощении художественной речью // Вестник Московского государственного открытого университета. Серия Русская филология. – 2011. – № 2. – С.13–19.
45. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка. М., 2006.
46. Ермаков С.В., Ким И.Е., Михайлова Т.В. et al. Власть в русской языковой и этнической картине мира. М., 2004.
47. Жданова Л.А. *Государство*: языковое значение и концепт // Когнитивная лингвистика в конце XX в. Тезисы конференции. Минск, 1997.
48. Жданова Л.А. *Народ и нация*: соотношение понятий и концептов // Вопросы русского языкознания. Функциональные и семантические характеристики текста, высказывания, слова. Т. 8. М., 2000. С. 162-171.
49. Жданова Л.А. *Общество* в русской языковой картине мира // Structures & Functions: Studies in Russian Linguistics. Структуры и функции: исследования по русистике. Т.1, 2013, № 1. С. 59-70.
50. Жданова Л.А. *Общество*: языковое значение и концепт // Актуальные проблемы языкознания и литературоведения. Вып.3, МГУ, 1997.
51. Жданова Л.А. Структура и динамический потенциал политической лексики // Формула круга. М., 1999.
52. Живов В.М. История понятий, история культуры, история общества // Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М., 2009. С. 5-27.
53. Живов В.М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М., 2002.
54. Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
55. Зенкин С., Светликова И. Предисловие // Интеллектуальный язык эпохи. История идей, история слова. М., 2011. С. 5-7.

56. Зенкин С.Н. История понятий и структуральный метод // Зенкин С.Н. Работы о теории. М. НЛО, 2012. С. 104-112.
57. Золтан А.К. К предыстории русского государь // Из истории русской культуры. Киевская и Московская Русь. Т. II. Кн. 1. М., 2002. С. 554-590.
58. Иванов В.В., Топоров В.Н. О языке древнего славянского права (к анализу нескольких ключевых терминов) // Славянское языкознание. VIII международный съезд славистов. Загреб-Любляна. М., 1978, с. 221-240.
59. Ивинский А.Д. Екатерина II и русский язык // Русская речь, 2009, № 2, с. 77-81.
60. Ивинский А.Д. Литературная политика Екатерины II. Журнал «Собеседник любителей русского слова». М.: 2012.
61. Ивинский А.Д. Языковая программа Екатерины II: К истории журнала "Собеседник любителей русского слова" // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология, 2009, № 3, с. 47-54.
62. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. М., 1997
63. Исторические понятия и политические идеи в России. XVI–XX века. Сборник статей. СПб., 2006.
64. Калугин Д. История понятия «общество» от Средневековья к Новому времени: русский опыт // От общественного к публичному. СПб., 2011.
65. Калугин Д. История понятия «общество» от средневековья к Новому времени: русский опыт // От общественного к публичному. СПб., 2011. С. 305-394.
66. Кандаурова, Т.Н. О характере оппозиций в парах соотносимых между собой неполногласных и полногласных слов: (на материале древнерусского письменного литературного языка XI—XIV вв.) // Ученые записки Московского государственного педагогического института. М., 1967. С. 375-390.

67. Кантино Ж. Сигнификативные оппозиции // Материалы к спецкурсу по структурной типологии языков. Сборник переводов. (Составитель и переводчик О.Г. Ревзина). М., 1964.
68. Кантор В. К. А. С. Пушкин: русское дворянство как третье сословие // Философский век. Альманах: Вып. 5. Идея истории в российском Просвещении. Сб. статей. / Отв. редакторы Т. В. Артемьева, М. И. Микешин. - СПб., 1998. С. 53-71.
69. Каплун В. Общество до общественности: «общество» и «гражданское общество» в культуре российского просвещения // От общественного к публичному. СПб., 2011. С. 395-486.
70. Карцевский С.Д. «Язык, война и революция». URL: <http://crecleco.seriot.ch/textes/Karcevskij23.html> (10.06.2015).
71. Касториadis К. Воображаемое установление общества. М., 2003.
72. Кацнельсон С.Д. Вступительная статья // Г. Пауль. Принципы истории языка. М., 2014.
73. Ключевский В.О. Курс русской истории. Т. 6. Специальные курсы. М., 1989.
74. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. М., 2000.
75. Козеллек Р. (2014). Введение // Словарь основных исторических понятий. Т. 1. М., 2014. С. 23–45.
76. Козеллек Р. К вопросу о темпоральных структурах в историческом развитии понятий // История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010. С. 21-34.
77. Кола Д. Политическая семантика Etat и état во французском языке // Понятие государства на четырех языках. С-П., 2002.
78. Копосов Н.Е. Основные исторические понятия и термины базового уровня: к семантике социальных категорий // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т.1, №4.

79. Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века: Сб. науч. работ. (Источник. Историк. История: Вып.5). СПб., 2006. С. 9-32.
80. Копосов Н.Е. Как думают историки. М., 2001
81. Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек! Критика социальных наук. М., 2005.
82. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история (проблема языкового изменения) // Новое в лингвистике. Вып. III. М., 1963.
83. Кром М.М. «Дело государево и земское»: Понятие общего блага в политическом дискурсе России XVI в. // Сословия, институты и государственная власть в России (Средние века и раннее Новое время). М., 2010. С. 581–585.
84. Кром М.М. История понятий в русле социальной истории: идеи Р. Козеллека и возможности их приложения к российскому материалу // Гуманитарные чтения РГГУ-2010: Теория и методология гуманитарного знания. Сб. мат-в. М., 2011. С. 154-164.
85. Кром М.М. К вопросу о времени зарождения идеи патриотизма в России // Мировосприятие и самосознание русского общества (XI-XX вв.). Сб. статей. М., 1994. Вып. I. С. 16-30.
86. Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001.
87. Крушевский Н.В. Очерк науки о языке // Крушевский Н.В. Избранные работы по языкознанию. М., 1998. С. 20-56.
88. Кубрякова Е.С. Место вопроса о языковых изменениях в современной лингвистике // Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970. С. 197–206.
89. Кузнецов В.Г. Научное наследие женевской лингвистической школы. М., 2010.
90. Кустова Г.И. Типы производных значений и механизмы языкового расширения. М., 2004.

91. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. М., 2004.
92. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о мышлении. Книга 1: Разум вне машины. М., 2011.
93. Левин В.Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII-начала XIXв. (лексика). М., 1964.
94. Ломтев Т.Т. Конструктивное построение смыслов имен с помощью комбинаторной методики. М., 1964.
95. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII в.) // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 414. Труды по русской и славянской филологии. Вып. 28, 1977. URL: <http://www.ruthenia.ru/document/537293.html> (30.08.2015).
96. Лукин П.В. Древнерусские понятия «горожанин», «гражданин», «гражданин» // Российская история. 2014. № 4. С. 140-146.
97. Луппов С.П. Книга в России в послепетровское время. Л., 1976
98. Лютш А. Русский абсолютизм XVIII в. // Итоги XVIII в. в России. Введение в российскую историю XIXв. М., 1910.
99. Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. М., 2002.
100. Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М., 2003.
101. Мальцева И.М., Молоткова А.И., Петрова З.М. Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975.
102. Марасинова 2008а - Марасинова Е.Н. Рабы и граждане в Российской империи XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе»: к проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи. М., 2008. С. 99-118.
103. Марасинова Е.Н. 2008 – Марасинова Е.Н. Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. М., 2008.
104. Маслов Б.П. Рождение и смерть Добродетели в России: о механизмах пропаганды понятий // Понятия о России. Т. I. М., 2012. С. 343–382.

105. Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации. От клинописи до Интернета. М., 2009.
106. Миллер А., Сдвижков Д., Ширле И. Предисловие // Понятия о России. К исторической семантике имперского периода. Т. 1. М., 2012. С. 5-46.
107. Миллер А.И., Сдвижков Д.А., Ширле И. «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Предисловие // Понятия о России. М., 2012. Т. I. С. 5-48.
108. Милуков П.Н. Верховники и шляхетство // Из истории русской интеллигенции. Сб. ст. и этюдов. СПб., 1903. С. 10-26.
109. Мякотин В.А. Из истории русского общества. (Дворянский публицист екатерининской эпохи). 2 изд., СПб., 1906. С. 102-166.
110. Николаев С.И. О стилистической позиции русских переводчиков петровской эпохи (к постановке вопроса) // Русская литература XVIII века в ее связях с искусством и наукой. Л., 1986. С. 109–121;
111. Новиков Л.А. Лексикология // Современный русский язык. Под ред. В. А. Белошапковой. М., 2011.
112. Общественная мысль России XVIII — начала XX века. М., 2005.
113. Омельченко О.А. «Законная монархия» Екатерины Второй. М., 1993.
114. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004
115. Панов М.В. Труды по общему языкознанию и русскому языку. Т. 2. М., 2007.
116. Парсамов В.С. Декабристы и Франция. М., 2010.
117. Пауль Г. Принципы истории языка. М., 2014.
118. Петрухинцев Н.Н. Консолидация дворянского сословия и проблемы оформляющей его терминологии // Правящие элиты и дворянство в России во время и после петровских реформ (1682-1750). М., 2013.
119. Плавинская Н.Ю. «Наказ» Екатерины II во Франции в конце 60-начале 70-х годов XVIII века: переводы, цензура, отклики в прессе // Русско-французские культурные связи в эпоху Просвещения. Исследования и материалы. Сборник памяти Г. С. Кучеренко. М., 2001. С. 9-36.

120. Плунгян В.А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. М., 2008. - № 2 (16). - С. 7-20.
121. Плунгян В.А. Общая морфология. М., 2003.
122. Покровский 1959, idem. Покровский 1895 – Покровский М.М. Избранные работы по языкознанию. М., 1959.
123. Поливанов Е.Д. Где лежат причины языковой эволюции? // Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М., 1968. С. 75-90.
124. Поликарпов А.А. Жизненный цикл слова и моделирование эволюции языка // Системно-квантитативные исследования в лингвистике. 1. М., 1995.
125. Польской С.В. Истоки русского конституционализма: теории естественного права и русские политики первой половины XVIII в. // Философский век. Альманах. Вып. V. Идея истории в российском Просвещении. СПб., 1998, с. 162-184
126. Польской С.В. Политические идеи Джона Локка в России первой половины XVIII века // Философский век. Альманах. 19. Россия и Британия в эпоху Просвещения. Опыт философской и культурной компаративистики. СПб., 2002. С. 119–124.
127. Потebня А.А. Введение // Из записок по русской грамматике. Т. 1. М., 1958.
128. Потebня А.А. Об изменениях и заменах существительного // Из записок по русской грамматике Т.3.М., 1968.
129. Прозоров В.В. О семантических горизонтах понятия «власть» // ЛОГОС. №4-5. 2003. С. 58-64.
130. Протасов Г.А. (1971). Дворянские проекты 1730 г. (источниковедческое изучение) // Источниковедческие работы. Тамбов. Вып. 1. С. 61–102.
131. Растье Ф. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород, 2001
132. Рахилина Е.В. (ред.). Лингвистика конструкций. М., 2010.
133. Рахилина Е.В. Когнитивная семантика: истоки, персоналии, идеи, результаты // Семантика и информатика. Вып. 36. М., 1998

134. Ревзина О.Г. Безмерная Цветаева. Опыт системного описания поэтического идиолекта. М., 2009.
135. Ревзина О.Г. Лингвистика XXI века: на путях к целостной теории языка // Критика и семиотика. - Вып. 7. - Новосибирск, 2004. - С. 11-20
136. Ревзина О.Г. Некоторые вопросы и некоторые ответы к экзамену по стилистике. URL: <http://danefae.org/lib/ogrevzina/> (02.12.2014)
137. Ревзина О.Г. О понятии коннотации // Языковая система и её развитие во времени и пространстве: Сборник научных статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой. М., 2001. С. 436—446.
138. Ревзина О.Г. Семантическое представление и семантическое толкование поэтического текста // Semiotics and the history of culture. In honor of Juri Lotman. Studies in Russian. Colombus, 1998.
139. Ревзина О.Г. Темпоральная структура концепта // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова. М., 2013. С. 183-192.
140. Ридель М. Общество, общность (Gesellschaft, Gemeinschaft) // Словарь основных исторических понятий. Т. 2. М., 2014.
141. Риккен У. О соотношении сравнительной истории понятий и сравнительной лексикологии // История понятий, история дискурса, история метафор. М., 2010. С. 66-84.
142. СБРИО – Сборник Русского исторического общества. URL: http://mir.k156.ru/sirio/sirio_index.html (10.06.2015).
143. Сдвижков Д., Ширле И. (ред.). Понятия о России. К исторической семантике имперского периода. В 2 т. М., 2012.
144. Севастьянова А.А. Генезис понятия «гражданское общество» в России (XVIII- начало XIX в.) // Профессионалы за сотрудничество: сб.ст. Вып.3 М., 1999. С. 63-68.
145. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
146. Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики. М., 2010.

147. Смирницкий А.И. К вопросу о слове (проблема отдельности слова) // Вопросы теории и истории языка. М., 1952, с. 182—203.
148. Сорокин Ю.С. (ред.) Язык русских писателей XVIII в. (Сб.ст.) ИРЯ., Л., 1981.
149. Сорокин Ю.С. Динамика семантической системы языка и возможные аспекты показа ее в лексикографии // Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977.
150. Сорокин Ю.С. О задачах изучения лексики русского литературного языка XVIII в. // Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.-Л., 1966.
151. Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90 гг. XIX в. М., Л., 1965
152. Сорокин Ю.С. Что такое исторический словарь? // Проблемы исторической лексикографии. Л., 1997.
153. Сурин В. Личность и государство в русской литературе второй половины XVIII века// Сборник Харьковского историко-филологического общества, XIX, 1913.
154. Тарановский Ф. В. Политическая доктрина в Наказе императрицы Екатерины II // Сборник статей по истории права, посвященный М.Ф. Владимирскому-Буданову. Киев, 1904.
155. Тарановский Ф.В. Судьба Наказа императрицы Екатерины Второй во Франции // Журнал Министерства юстиции. С.-Петербург, 1912. № 1. С. 100 – 127.
156. Татевосов С.Г. Семантическое картирование: теория и метод // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология, № 1, 2004 с. 27-42
157. Тезисы Пражского лингвистического кружка // Пражский лингвистический кружок. Сб. ст. М., 1967. С. 17-41.
158. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.

159. Тимофеев Д.В. Европейские идеи в социально-политическом лексиконе образованного российского подданного первой четверти XIX в. Челябинск, 2011.
160. Толстая С.М. Пространство слова. Лексическая семантика в общеславянской перспективе. М., 2008.
161. Томаселло М. Истоки человеческого общения. М., 2011.
162. Турыгин А.А. «Билефельдская школа»: теоретико-методологические основы и их критика в современной историографии ФРГ: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.09. Ярославль, 2006. РГБ ОД, 61:07-7/210.
163. Улуханов И.С. Историческое словообразование. Историческая лексикология. М., 2012.
164. Уорт Д. О языке русского права // Вопросы языкознания. №2, 1975, с. 68-75.
165. Успенский Б.А. Ego Loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2012.
166. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.). М., 2002.
167. Фаликман М.В. Когнитивная наука: основоположения и перспективы // Логос. №1 [97], 2014. С. 1-18.
168. Федорова К. Общество: между всем и ничем // От общественного к публичному. СПб., 2011. С. 13-68.
169. Федорова О.В. Экспериментальный анализ дискурса. М., 2014.
170. Федосов И.А. Из истории русской общественной мысли XVIII столетия. М.М. Щербатов. М., 1967
171. Фейерабенд П. Против метода // Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986. - С.125-467.
172. Филиппов А.Ф. Общее, общественное и публичное в их преемственности и изменении. Рецензия на книгу: От общественного к публичному / Под ред. О.В. Хархордина. СПб.: Европейский университет, 2011. - 529 с. // Социология власти, 2011, №1-2. URL: <http://socofofpower.rane.ru/> (16.03.2015).

173. Хайдеггер. Что значит мыслить? // Хайдеггер М., Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
174. Хапаева Д.Р. Герцоги республики в эпоху переводов. Гуманитарные науки и революция понятий. М., 2005.
175. Хархордин О. (ред.) От общественного к публичному. СПб., 2011.
176. Хархордин О. Что такое «государство»? // Понятие государства в четырех языках. СПб., 2002. С. 152-216.
177. Чейф У. На пути к лингвистике, основанной на мышлении // Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика. М., 2015. С. 60-88.
178. Черкасова Е.Т., Смолина, Копорская. История лексики РЛЯ к.ХVII-н.ХVIIIв. М., 1981.
179. Чернейко Л.О. Лингво-философский анализ абстрактного имени. М., 2010.
180. Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 2010.
181. Чечулин Н.Д. Наказъ Императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта новаго Уложения. СПб., 1907.
182. Шведова Н.Ю. Общественно-политическая лексика и фразеология в "Путешествии из Петербурга в Москву" А.Н. Радищева // Материалы и исследования по ИР-ЛЯ, т. II. М.-Л., 1951. С. 5-51.
183. Шор Е.Н. К истории французской общественно-политической лексики. Автореферат дисс. канд. филол. наук. М., 1954.
184. Щерба Л.В. О тройном аспекте языковых изменений и об эксперименте в языкознании // Языковая система и речевая деятельность. М., 2007. С. 24-38.
185. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М., 1975. С. 193–231.
186. Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков разного строя. М., 1972. С. 95-111.
187. Янов А.Л. Россия и Европа: 1462-1921. Книга 1. Европейское столетие России. М., 2008.

188. Anderson L.D. Evidentials, path of change and mental maps: typologically regular asymmetries // Chafe W., Nichols J. (eds.). Evidentiality: the linguistic coding of epistemology. Norwood, 1986.
189. Andler D. (dir.) Introduction aux sciences cognitives. P., 2004.
190. Ayres-Bennett W., Colombat B. Le grand corpus des grammaires françaises, des remarques et des traites sur la langue // Corpus et constitution des savoirs linguistiques. P., 2015. P. 5-7.
191. Baude O., Dugua C. Corpus et savoirs : des liaisons heureuses? // Corpus et constitution des savoirs linguistiques. P., 2015. P. 9-11.
192. Benveniste E. Problèmes de linguistique générale, I. Paris, 1966.
193. Bloomfield L. Language. New York, 1933.
194. Branca-Rosoff S. Les mots de parti pris. Citoyen, aristocrate et insurrection dans quelques dictionnaires (1762-1798) // Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815). V.3: Dictionnaires, normes usages. Paris, 1988. P. 47-75.
195. Branca-Rosoff S., Guihaumou J. De société à socialisme: l'invention néologique et son contexte discursif // Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815). F.7: Notions théoriques. Paris, 2003. P. 143-179.
196. Cassin B. Vocabulaire européen des philosophies . Dictionnaire des intraduisibles. P., Editions Seuil et le Robert, 2004
197. Changeux J.-P. Du vrai, du beau, du bien : Une nouvelle approche neuronale. P., 2008
198. Christin O. Introduction //Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines. P., 2010. P. 11-24.
199. Darmesteter A. La vie des mots étudiée dans leurs significations. P., 1887.
200. Duncan S. A. The Cambridge School and world politics: critical theory, history and conceptual change. N.-Y., 2001.
201. Gardner Howard E. The Mind's new science: A History of the Cognitive Revolution. N-Y, 1985.

202. Geffroy A. Citoyen|citoyenne (1753-1829) // Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815). F. 4. Désignants socio-politiques. Ctp. 72.
203. Guilhaumou J. Discours et événement. L'histoire langagière des concepts. Paris, 2006.
204. Guilhaumou J. Reinhart Koselleck et le temps historique // Les historiens et l'avenir. Comment les hommes du passé imaginaient leur futur. Mélanges offerts à Bernard Cousin. Aix-en-Provence, 2014. P. 27-36
205. Koselleck R. Futures past. On the semantics of historical time. N.-Y., 2004.
206. Koselleck R. The Practice of Conceptual History. Timing History, Spacing Concepts. Stanford University Press, 2002!
207. Lakoff J., Turner M. More than Cool Reason. A field guide to poetic metaphor. University of Chicago Press, 1989.
208. Lazard G. La quete des universaux sémantiques en linguistique // Le Bulletin du Groupe des recherches semio-linguistiques. P., 1981.
209. Lehmann H., Richter M. The meaning of historivcal terms and concepts. New studies on Begriffsgeschichte. Washington, D.C.,2006.
210. Lepore E., Pylyshyn Z. (eds.). What is cognitive science? Oxford: Blackwell, 1999.
211. Lynne Murphy M., Piazza R. Linguistic semantics and historical semantics // Asymmetrical concepts after Reinhart Koselleck. Historical semantics and beyond. (Eds.) Junge K., Postoutenko K. Bielefeld, 2011. P. 51–81.
212. Mots. Dictionnaires, normes, usages. Mars, №22, 1990. P. 120-122.
213. Palonen K. Rhetorical and temporal perspectives on conceptual change. Theses on Quentin Skinner and Reinhart Koselleck // Rhetorical and temporal perspectives on conceptual change. LIT Verlag. P. 41-60.
214. Piguet M.-F. Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815). «Dictionnaires, normes, usages» // Mots. Mars 1990, №22, P. 120-122.
215. Postoutenko K. Asymmetrical concepts and policial asymmetries : a comparative glance at 20th century democracies and totalitarianisms form discursive standpoint

// Asymmetrical concepts after Reinhart Koselleck. Historical semantics and beyond. Bielefeld, 2011.

216. Rastier F. *Sémantique et recherches cognitives*. P., 1991.
217. Robin R. *La société française en 1789 : Semur-en-Auxois*. P., 1970.
218. Sapir E. *Language. An Introduction to the Study of Speech*. New York, 1921.
219. Schultheis F. *Un dictionnaire pour un espace européen des sciences sociales // Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines*. Paris, 2010. P. 7-11..
220. Spector B. *Intoduction // La société*. P., 2000. P. 9-65.

Словари:

1. Даль 1905 - Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.- М., 1905.
2. Петрученко 2003 - Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 2003.
3. САР - Словарь Академии Российской. Ч. I–IV. СПб., 1789–1794.
4. СДРЯ XI–XIV вв. - Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). В. 10-ти т. М., 1988-2004.
5. Седакова 2005 - Седакова О.А. Церковнославяно-русские паронимы. Материалы к словарю. М., 2005, available at: <http://ekislova.ru/russian/gram> (07.12.2014).
6. Сл. XVIIIв. - Словарь русского языка XVIII века. Вып. XVI СПб., 2006.
7. Срезневск. - Срезневский И.И. (1893–1912). Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. I–III. СПб., 1893–1912.
8. СРЯ XI–XVII вв. - Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1975-2006.
9. СЦСРЯ - Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Имп. Академии наук. Т. I–VI. СПб., 1847.
10. Фасмер 2003 - Фасмер М. (2003). *Этимологический словарь русского языка*. Т. 3. М.: Астрель.
11. Цыганенко 1989 - Цыганенко Г.П. *Этимологический словарь русского языка*. Киев, 1989.

12. Черных 2004 - Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I. М., 2004.
13. Шведова 2011 - Шведова Н.Ю. Русский идеографический словарь. Мир человека и человек в окружающем его мире. М., 2011.
14. AF - Dictionnaire de l'Académie française. Ed. 1-6. URL: <http://atilf.atilf.fr/academie9.htm>
15. DUSP 1985 - Dictionnaire des usages socio-politiques (1770-1815). V.1. P., 1985.
16. Gaffiot 1934 – Dictionnaire latin-français. P., 1934. URL: <http://micmap.org/dicfro/introduction/gaffiot/>
17. Robert -2002. Le Robert. Dictionnaire étymologique du français. Sous la réd. de J. Picoche. Paris, 2002.
18. TLF 1971 - Trésor de la langue française : dictionnaire du XIXe & XXe siècle: définition, étymologie, citations, synonymes, antonymes. P., 1971.
URL : <http://atilf.atilf.fr/tlf.htm> (10.06.2015)
19. Trévoux 1740 - Dictionnaire universel français et latin contenant la signification et la définition tant des mots de l'une et de l'autre langue, avec leurs différents usages, que des termes propres de chaque état et de chaque profession. Nancy, 1740, chez Pierre Antoine.

Источники:

1. Декабристы. Антология в двух томах. М., 1975.
2. Законодательство императрицы Екатерины II: 1783–1796 годы. (сост. В.А. Томсинов). М., 2011.
3. Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. М., 1952.
4. Карамзин Н.М. Избранная проза и публицистика. М., 2002.
5. Карамзин Н.М. Избранные труды. М., 2010.
6. Кашпирев В. (ред.). Памятники Новой русской истории. Сборник исторических статей и материалов. Т. I. СПб., 1871.

7. Конституционные проекты в России XVIII-XX в. (ред. Медушевский А. Н.) М., 2010.
8. Крылов И.А. Полное собрание сочинений в 3 т. М., 1945-1946.
9. Курукин И.В., Плотников А.Б. 19 января – 25 февраля 1730 год: события, люди, документы. М., 2010.
10. Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1988.
11. Мемуары декабристов. М., 1988.
12. Монтескье Ш.Л. О законах, относящихся к природе деспотического государства // О духе законов. М., 1999. С. 134-139.
13. Муравьев М.Н. Мысли, замечания и отрывки // М. Н. Муравьев. Сочинения, т. II. СПб., 1847.
14. Новиков Н.И. Электронное собрание сочинений. URL: http://az.lib.ru/n/nowikow_n_i/.
15. Памятники московской деловой письменности XVIII в. М., 1981
16. Панин Н.И. Проект о реформе Сената... // СБрИО, Т. VII. С. 202-209
17. Пестель П.И. Русская правда // Конституционные проекты в России XVIII — н. XX. в. М., 2010
18. Письма Н.И. Новикова. СПб., 1994.
19. Письма русских писателей XVIII в. Л., 1980.
20. Полное собрание законов. Т. VI, № 3708. Регламент или устав главного магистрата, URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html (02.12.2014).
21. Полное собрание законов. Т. XXII. № 16188. Грамота на права и выгоды городам Российской империи. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html (02.12.2014).
22. Радищев А.Н. Материалы и исследования. М., Л., 1936. URL: <http://dc.lib.unc.edu/cdm/item/collection/rbr/?id=25596> (10.06.2015).
23. Радищев А.Н. Путешествие из Петербурга в Москву. М., 1981.
24. Радищев А.Н. Собр. соч. в 3 т. М.-Л., 1954.
25. Российское законодательство X-XX вв. В 9 Т. М., 1987.
26. Русский литературный анекдот XVIII-начала XIX вв. М., 1990.

27. Сперанский М. М. План государственного преобразования графа М. М. Сперанского. (Введение к Уложению государственных законов 1809 г.). М., 1905.
28. Суворов А. В. Письма. (ред. В.С. Лопатин, А. М. Самсонов). М.:1986
29. Уваров С.Ф. Мемуары для истории оппозиции в России // Записки отделения рукописей Государственной библиотеки СССР им. Ленина. Вып. 36. М., 1975 (перевод с фр. С.В. Житомирской)
30. Фонвизин Д.И. Электронное собрание сочинений. URL: http://az.lib.ru/f/fonwizin_d_i/. (10.06.2015)
31. Фонвизин М.А. Сочинения и письма. Т. II. Иркутск, 1982
32. Хрестоматия по истории государства и права в России. Уч. пособие. (Сост. Титов Ю.П.). М., 2013.
33. Щербатов М.М. Сочинения князя М.М. Щербатова в 2 т. СПб. 1896-1898.